

# ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального  
университета

Серия 3  
Общественные науки

2013

№ 5 (122)

# IZVESTIA

Ural Federal University  
Journal

Series 3  
Social and Political Sciences

2013

№ 5 (122)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

- В. А. Кокшаров**, ректор УрФУ,  
председатель совета
- Д. В. Бугров**, директор Института  
гуманитарных наук и искусств УрФУ
- М. Б. Хомяков**, директор Института  
социальных и политических наук УрФУ
- В. В. Алексеев**, акад. УрО РАН
- А. Е. Аникин**, чл.-корр. СО РАН
- В. А. Виноградов**, чл.-корр. РАН
- А. В. Головин**, чл.-корр. УрО РАН
- С. В. Голынец**, акад. РАН
- К. Н. Любутин**, проф. УрФУ
- А. В. Перцев**, проф. УрФУ
- Ю. С. Пивоваров**, акад. РАН
- А. В. Черноухов**, проф. УрФУ
- Т. Е. Автухович**, проф. (Белоруссия)
- Д. Беннер**, проф. (Германия)
- Дж. Боулт**, проф. (США)
- П. Бушкович**, проф. (США)
- М. М. Гиршман**, проф. (Украина)
- М. Гудерцо**, проф. (Италия)
- Л. Инчуань**, проф. (Тайвань)
- А. Ковач**, проф. (Румыния)
- Н. Коллман**, проф. (США)
- Дж. Майклсон**, проф. (США)
- А. Мустайоки**, проф. (Финляндия)
- Б. Ю. Норман**, проф. (Белоруссия)
- М. Перри**, проф. (Великобритания)
- Х. Рюсс**, проф. (Германия)
- Г. Саймонс**, проф. (Швеция)
- К. Хьюитт**, проф. (Великобритания)
- А. Федотов**, проф. (Болгария)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

Главный редактор

**Н. В. Суслов**,

канд. филос. наук, доц.

Заместитель главного редактора  
по международным связям

**А. С. Меньшиков**,

канд. филос. наук, доц.

Ответственный секретарь

**Е. С. Ковалева**

Члены редколлегии

*Философия*

**А. Г. Кислов**,

канд. филос. наук, доц.

**Т. А. Круглова**,

докт. филос. наук, проф.

**Е. Г. Трубина**,

докт. филос. наук, проф.

**Д. М. Федяев** (Омск),

докт. филос. наук, проф.

**А. Ю. Цофнас** (Одесса, Украина),

докт. филос. наук, проф.

**Е. С. Черепанова**,

докт. филос. наук, проф.

*Социология*

**Е. В. Грунт**,

докт. филос. наук, проф.

**А. В. Меренков**,

докт. филос. наук, проф.

**Л. Л. Рыбцова**,

докт. социол. наук, проф.

*Политология*

**А. А. Керимов**,

канд. полит. наук, доц.

**Н. А. Комлева**,

докт. полит. наук, проф.

**О. Ф. Русакова**,

докт. полит. наук, проф.

*Международные отношения*

**В. Д. Камынин**,

докт. ист. наук, проф.

**В. И. Михайленко**,

докт. ист. наук, проф.

*Психология*

**В. В. Макерова**,

канд. филос. наук, доц.

**Р. Р. Муслумов**,

канд. психол. наук

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

*Kalb D.* Modernity Junctions: Critical Junctions beyond Comparison: Notes on Vision and Methodology ..... 6

*Липовецкий М. Н.* Pussy Riot: трикстер и современный гендерный режим ..... 15

### КОНФЕРЕНЦИЯ

#### «ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI в.»

*Валиахметова Г. Н.* Социокультурные аспекты политического диспута между Западом и исламским миром ..... 30

*Камынин В. Д.* Поворот в политике России в области обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе на рубеже XX–XXI вв. .... 37

*Красавин И. В.* Плутократия и трансформация глобальной гегемонии ..... 43

### КОНФЕРЕНЦИЯ

#### «ЕВРОПА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

*Гузикова М. О., Нестеров А. Г.* Обсуждение вопроса о Косово в международном суде ООН (2008–2010): концепт термина «суверенитет» ..... 59

*Нестеров А. Г.* Австро-Венгрия как интеграционный проект: опыт для Центрально-Восточной Европы XXI в. .... 67

*Нестерова Т. П.* Концепция «итальянской цивилизации» как интеграционный проект 1920–1930-х гг. .... 73

#### КОНФЕРЕНЦИЯ «ИДЕНТИЧНОСТЬ И МИГРАЦИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

*Lissitsa S.* What is Vital for Integration? Russian Immigrants and Israelis Speak Their Mind ..... 78

*Грунт Е. В.* Влияние русскоязычной эмиграции на реконфигурацию социокультурного пространства Турции ... 95

*Чесноков А. С.* Международная иммиграционная политика и социально-политические права мигрантов: идеологические приоритеты и нормативные основы ..... 102

#### КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ПСИХОЛОГИИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ»

*Муслумов Р. Р.* Психологическая диагностика правовых установок студентов вуза ..... 109

### КОНФЕРЕНЦИЯ

#### «СТЫКИ МОДЕРНОСТИ: ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, СУБЪЕКТИВНОСТИ И ДИСКУРСЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

*Pierobon Ch.* The European Union in Central Asia: a New Concept of Democracy Assistance? ..... 117

*Кислов А. Г.* Семантика позволенного: шероховатости деонтического ландшафта ..... 128

*Лейбович О. Л.* Культурные аспекты современного кризиса российского общества: конфликт социальных технологий ..... 142

*Неменко Е. П.* Трансформации советского габитуса в современной художественной среде: между кругом друзей и «тусовкой» ..... 151

*Трахтенберг А. Д.* Переход к электронному правительству как символическая реформа ..... 163

АВТОРЫ НОМЕРА ..... 174

# ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ ИСПН «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ»

*В мае 2013 г. в Институте социальных и политических наук УрФУ был организован и проведен Первый международный конвент «Модернизация обществ и множественные модерности». Данное мероприятие позволило объединить усилия философов, социологов, политологов, специалистов в области международных отношений и психологов для решения непростой задачи серьезного пересмотра нашего восприятия современности. Участники Конвента ИСПН попытались определиться с тем, что подрывает сегодня доверие к классической интерпретации модерности как результата успешной реализации единого, универсального для всех социального проекта и наметить контуры новой теории, представляющей модерность в качестве множественного, существенным образом плюрального образования.*

*Работа Конвента 2013 г. осуществлялась в режиме пленарного заседания и ряда конференций. Особое внимание выступающие уделяли критике традиционных моделей социального развития; вопросам постсоветской модерности и европейской идентичности; рискам, связанным с «перезагрузкой» формул «большой политики» на уровне международных отношений; трудностям, с которыми сталкивается внутренняя и внешняя политика мультикультурных стран; проблематике поддержки и воспроизводства социальных связей индивидов в современном обществе.*

*Настоящий выпуск серии включает специально подготовленные для печати тексты пленарных докладов и статьи, написанные авторами на основе их выступлений на конференциях и рекомендованные для журнальной публикации оргкомитетом Конвента.*

*Более подробную информацию о прошедшем мероприятии и о Конвенте 2014 г. можно получить на сайте ИСПН УрФУ: <http://ispn.urfu.ru/konvent/>*

# ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 316.422 + 316.324 + 140.8

**D. Kalb**

## **CRITICAL JUNCTIONS BEYOND COMPARISON: NOTES ON VISION AND METHODOLOGY**

The author introduces the concept of critical junctions. The concept is placed in the context of discussions concerning modernity; then, its methodological underpinnings and alternative approaches to comparison are explicated. In the final part, the author demonstrates how to apply critical junctions method while analyzing “annus mirabilis” of 2011.

Key words: critical junctions, modernity, comparative methodology, globalization.

The intention of the talk is to introduce the concept of critical junctions. I use junction rather than junctures, which is used by political scientists and political historians and refers to temporal dimensions whereas, as you will see, the notion of critical junction is more complex and multidimensional than that. This is not meant to be just a nominalistic squabble. I will start to talk about modernity; what I am going to say is a crystallization of discussions we have been having over the last two years while this program at the ISPS in Ekaterinburg<sup>1</sup> has been formed. Then, I will talk about methodology and in particular about comparison, and then I will talk about the “annus mirabilis” of 2011. Altogether the intention is to bring out the methodology, the idea and the structure of argumentation and research around critical junctions.

The concept of modernity has been an object of intense discussion over the last 20–30 years. 20–30 years ago, we actually did not speak a lot about modernity; we spoke about modernization. Modernization theory reflected very self-consciously

---

<sup>1</sup> The graduate program in political philosophy at the Institute of social and political sciences was developed in partnership with AFP-OSI of which Prof. Kalb was a supervisor.

the rise of Europe, the rise of a particular sort of European civilization — urban; capitalist; the rise of specialisms, the rise of experts, the rise of specialization and profession; the rise of the university, the rise of science; and then all encapsulated in an urban industrial capitalism that was specifically European in the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> century mode. The modernization paradigm was exported all over the world. It was a part of ‘development’; it was a part of what was going on in the UN. The idea of modernization was a packaged set of processes that encompassed urbanization, industrialization, mass education, specialized bureaucracies, Weberian forms of state formation — all that came together in creating modern civilization. As a matter of fact, over the last 20–30 years that paradigm was first critiqued by world-system theory, by Marxism, arguing that it projected a universalism that was in fact a particularism emanating from the core of the system and used to dominate the peripheries. Later it was criticized by post-modernism for its subscribing to a grand narrative. Then gradually in the course of these disputations modernization theory fell apart and lost its coherence and persuasion.

As a response, in the 1980s and the early 1990s, and accelerating after the collapse of the Soviet Union, the concept of modernity gained prominence. Modernity, first of all, does not signify a process. Modernization was a verb, but modernity is a substantive. Something interesting about timing and timings, about chronotopes, that is, temporal visions and expectations, had changed in the meantime. Modernity was a condition rather than a temporal process. Connected to that ‘de-temporalization’ of the concept was a spatial transformation. Anthropologists started to talk about African modernities. Under the hegemony of modernization it was Africa, par excellence, that was the recipient of advice, because it seemed to represent the very last platoon in the army of the modernizers. But in the 1990s Africa became the object of a lot of writing about modernity. Africa was now seen as having its own African modernities. That was a curse in the church of modernization theory, but it was an emblem in the discourse of modernity. The work of Jean and John Comaroff and Peter Geschiere exemplified this trend. The idea of ‘multiple modernities’, first coming from Shmuel Eisenstadt, was spreading. Africa was the most radical break in the modernization paradigm. The idea that there were multiple modernities added to that, multiple modernities that were based within the structures and the discourses of all existing ‘great traditions’ and civilizations, another rising concept, like Confucian, Hindu, Jewish, Christian and Arab-Islamic. The modernization paradigm was fracturing.

On the top of that, came postcolonial writing in India and in Latin America. The postcolonialists, for example Chakrabarty and a whole series of Latin-American authors (many of them partly located in the US) began arguing that in Latin America and in India you had a specific sort of postcolonial modernity, which had always already been in resistance to the colonial imposition of modernization thinking. In sum, you saw a whole set of new streams of research and thinking emerging that served to fragment the modernization concept, displace it temporally and spatially, and leave it empty in front of us.

Perhaps the most structural re-thinking of modernization theory may have sprung from the work of Jack Goody on Eurasia, though Goody stands for a large

body of historical work that began to highlight how modernity was in fact not so modern after all while modernization was not so recent after all. He started to place European modernities and European modernizations in a much longer timeframe, which basically spanned the whole Eurasian continent and set the early Mesopotamian civilizations, Chinese civilizations, Indian civilizations, the rise of the antique world and the rise of the Arab empires, and then from there through Florence and the Renaissance and the resurgence of Europe in the 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> centuries, into one big temporal conversation. He basically argued that modernity cannot be seen in terms of a nation-state or in terms of a particular epoch or particular place where it seems focused. Modernity is an ongoing process with a very long sweep, or a sequence of sequences, of cultural, political, economic, scientific and artistic inventions, subjectivities in a broad sense of the term, associated with urban civilization as such, and continuously re-articulated through new urbanizations that dominate particular times and spaces. This planetary sequence of situated urban sequences accumulated over time to the US-focused global capitalist modernity that we have seen emerging over the last 100 years. Instead of Weber's modernization as rationalist specialization, or the artistic avant-garde of the 1920–30s, you get a very long term vision of an array of hybrid urban cultural formations connecting east and west, north and south, that are consistently created and recreated, and giving their particular inputs to modern forms.

Altogether this amounts to a complete decentering of modernity and modernization. We should, of course, suspect that such intellectual decentering is not likely to be an intellectual accident. This complete overhaul of the modernization paradigm happens exactly at the moment that Europe and the US are losing their dominant geo-economic and political place in the world. Basically what we see is that these new ideas of modernity that already stirred in Braudel, Wallerstein and Friedman, reflect the decline of European inflected modernization as the dominant paradigm for acting, being and becoming in the contemporary world. Of course, it happens at the exact moment at which the center of the global system is shifting away from the West and moving to the East.

In this sense, our conference here and the conference in the next room<sup>2</sup> where they are talking about the place of Europe in the world, these two topics, are very closely connected. In the end, this is about geopolitics, and, as Wallerstein would have it, about geoculture. The recognition that there are multiple modernities, is also a recognition that there is a whole set of, if you like, competing civilizational centers, emergent political and economic (sub-)hegemony that are not western, that do not articulate their own self-consciousness in terms of simply copying western paradigms and, in fact, having first copied a lot from Western capitalist urbanization and industrialization, they self-consciously articulate an alternative vision. How do we call these competing visions? Should we accept that they are 'Confucian', or, in the case of Russia, Putinian, or Islamic and Hindu, etc.? I would strongly suggest that we contain our urge for labeling, certainly for labeling in the

---

<sup>2</sup> Conference "Modernity Junctions: Post-Socialist Institutions, Subjectivities and Discourses in Comparative Perspective" and conference "Europe in the Changing World".



expected ways. These are dynamic processes without predestination. The actual outcomes anywhere will be outcomes of social and cultural contestation, not of traditional blueprints realizing themselves. And it is per definitionem very unlikely that such outcomes would reflect classic civilizational templates, if only because the rise of non-western regions is so much predicated on internalizing so many elements of Western modernity, from industry and technology to university systems, bureaucracies and legal process, also when these get internalized in differentiating ways. But apart from the actual outcomes, the important thing is that you indisputably have this shift away from the West. And with the shift from the West the whole concept of modernization and of the western-based templates of modernity is falling apart.

There is a hard core to modernity theory, however: urbanization, specialization and class formation remain essential for the concept of modernity. Emergent contemporary (sub-)hegemon — however non-western or post-western — have to master the generation of specialist knowledge, both in the sciences and in public or private bureaucracies. Without class formation no urbanization and no dynamic modern cultural economy are possible. However poststructuralist we may have become in the last decades, these remain straightforward structuralist truisms. So, the issue of urbanization, specialization and class formation remains, I think, the universal hard core of modernity theory. It is only those centers of emergent power that master ongoing specialization and class formation and build them together into a dynamic urbanism, which will actually be able to compete with the older hegemon.

Clearly, there is also an issue of scale here. In the course of time, it has become increasingly unimaginable that, for example, a city-state such as Florence or the United Provinces of the Netherlands would have enough spatial scale to form an independent force for modernity, and compete with the contemporary imperial cores of the west; you need scale for this. It is clear that China is a rapidly rising actor in the imperial competition, as is the loose grouping of the BRICS — minimally as a geopolitical fantasy and perhaps, though not very likely, as a concerted actor. All of these units are large spatial containers for urbanization, class formation and specialization. So, four structural things continue to count in the production of modernity: urbanism, specialization, class formation, and spatial scale.

Now, what about methodology against the background of this shift in thinking about modernity? This shift in thinking about modernity, where modernity becomes hinged on civilizational hegemon within global systems rather than separate nation-states, which were just the apparent container of modernity and modernization under the European paradigm, basically means that comparison becomes problematic. Comparison was always based on the nation-state. The nation-state unit has lost much of its coherence. Globalization is, of course, a key word here. It is ever clearer that a nation is not a discrete unit, that some nations are more so than other nations and do influence them; that nations have taken a nap in the swirl of global history and global process and they are not discrete actors within it. In other words, the nation loses its coherence, and comparison based on the nation state loses its attraction. Currently national units, whether they like it or not, are fragmenting. Their constituent parts relate in very different ways to the global

centers and to the hegemon, which already indicates that rather than synchronically comparing national units, we should be much more interested in theorizing the relations of particular places to the spatial and temporal processes as such, their relations to the hegemon.

All these different places — and this remains essential, I think — are inserted in different slots in global systems. That has again a lot of theoretical implications because it means that we can actually theorize the particular slot that a particular place ‘inhabits’. Do not imagine this as a static exercise: the slot is not the slot forever. The slot itself is a moment in the global ordering, and the moment in the global ordering has a particular speed, a particular direction of change itself. So, in this sort of Braudelian-Wallersteinian vision, you have particular slots in the global system, but the slots are dynamic just as the global system is dynamic. And what you ultimately need to try to capture is not the comparison between the slots, but the exact linkage between global histories and local histories, and vice versa, local histories and global histories. Now, if you look at particular units, at particular places in this global swirl, then you can actually identify particular properties of the relationships between local histories and global histories, and then you can give these properties a name. And if you give a name, you do a major discovery, because it basically means that you capture the structuring dynamics of what is going on in a particular place, that you propose a hypothesis.

Now, what this particular place itself thinks about itself may be very different from what you discover about that place, because they live within their own local histories and within the vocabularies that are generated within their local histories. Of course, they innovate, learn and modify their vocabularies over time. These vocabularies can be seen as meaningful traditions that are always rephrased, reappropriated and retuned into the idiom of new times. Nevertheless, languages, legal and institutional systems have a weight of their own and are never ‘reducible’ to these local-global structurations. If you want to do innovative research at this point in time, which is not just a comparison between national units (what economists are so likely to do), it should be about trying to capture this local-global dynamic and propose a specific local/global understanding of the dynamics of local processes.

I call these local/global relations ‘critical junctions’. Critical junctions are multilevel, multi-scalar mechanisms that simultaneously integrate and differentiate places within global processes of modernity. And when I say places, I understand these places not merely as territorial spots, but as particular social histories within a more universal history. I will repeat that, so, critical junctions are multiscale mechanisms of simultaneous integration and differentiation of places and particular social histories within global processes. You will understand why it is important to emphasize the dialectics between integration and differentiation. It is the particular ways in which places and particular social histories are integrated into global process over time that helps to differentiate them from each other. So, I propose the study of such critical junctions as an alternative to the more methodologically nationalist or territorially fetishist idea of comparison.

Now, when you look at comparative methodologies, there are two concepts that have been relevant in trying to capture precisely this sort of thing. And that is

Charles Tilly's concept of encompassing comparison, and Philip McMichael's incorporated comparison [1]. I think these three notions – critical junctions, encompassing comparison and incorporated comparison – are in a close conversation with each other. Tilly's concept still reflects the hegemony of the comparative method more. Incorporated comparison basically starts from the world-system, starts from the global system and then looks at how particular units are incorporated within it. It is more structuralist, more world-systemic than either encompassing comparison or critical junction. I find this way of looking slightly rigid sometimes, too determined. I talk about critical junctions in order to capture the relational dynamism of local/global dialectics. Thus, I put more emphasis than the notion of incorporated comparison does on the emergent properties of any individual case. It also makes more space for the idea that the global system itself does not always have predictable structure and dynamics because surprising new local emergences, for example, the turn toward capitalism in formerly communist Eurasia, may shift the 'structural' properties of the global system as such.

Now, a useful exercise to think about this simultaneous integration and differentiation is, for example, the whole debate about the Axial Age. If you look at the big book on debt by David Graeber [2], David has this reconceptualization of the philosophical concept of the Axial Age, which is quite essential for his whole argument. The notion of the Axial Age was used by K. Jaspers to denote the period around 600 BC, where you had emerging all these different civilizational centers in the world, focused on one or another cosmic philosophy: Chinese, Indian, Greek, shortly there would be the beginning of the Roman center, Mesopotamia was still dynamic too. Now Graeber takes that concept out of its idealist connotations – for Jaspers, it is only about philosophies that were emerging in these different centers – but Graeber basically shows that these philosophies were local answers to general problems of urbanization and class formation. So, you have this whole rhythm, where all over the world, both in the west, in the center and in the east – and in fact the east is the center of that – all over the world you saw a formation of civilizational centers, political, economic, cultural hegemony emerging, to which political organizing and religious thought reacts. And you see the integration of these different civilizational centers into one world system, already in those days, and at the same time differentiation within world system through different emerging philosophies and religions that then gradually crystallize into very different sorts of feudalism from about 600 AD. So, the Axial Age discussion is a good illustration on how in global systems and global modernity you have integrative moments, the emergence of a whole set of similar imperial social systems and at the same time differentiating moments, with different cultural answers to the universal problems that arise in these centers.

Now, I will apply this to the *annus mirabilis* of 2011. The 2011 is an *annus mirabilis* because it is a confluence of protest movements that we have not seen since 1968 in the global system. 1968 in many ways, as I. Wallerstein has been emphasizing, can be seen as a signal moment in the US-European cycle of hegemony, cycle of modernity, a signal moment in which capitalism as such, as a structuring force of the European era began to lose its legitimacy. Habermas wrote about

the *Legitimationskrise*, too. The collectivity of protest movements starting off around that date – including in the soviet world, including in the (post)colonial south, including in the west, worldwide – signaled a fracturing of hegemony, of capitalist hegemony and therefore of US hegemony among the world population. 2011 became the installment in that process, and it comes at a very particular moment, a moment at which actual hegemony over the system is clearly moving east. It is actually being discussed as nothing less than the decline of the west.

What did we see in 2011? Starting around 2000 there was already an accumulating wave of protest in Latin America, India, and China. By 2010 the statistics in China shows that you have about 70 thousand local rebellions per year, registered rebellions, rebellions against the terms of Chinese urbanization and industrialization. Many of these protests are industrial protests; many are peasant protests against the appropriation of land for industrial development reasons. The Chinese communist party by the end of 2011 started to recognize that it had to alleviate social inequalities, increase minimum wages, allow migrants into the regimes of urban citizenship (Hukou) and in general that it had to come up with all sorts of policies to deal with protest and with protest claims. Latin America too, of course, had a long run mobilization of its own that started in late 1990s but was accelerating in the course of the early 2000s. It contributed to the global wave of protest in 2011 with the Chilean student rebellion among others. India, too, was confronted by an intensifying rebellion in the ‘forests’ by the Naxalite Maoist movements. So, India, Latin America and China were ongoing protest landscapes in the first decade of the 21<sup>st</sup> century.

What was added in 2011 to this picture was, first of all, the Arab spring, the mass mobilizations in the European South, Occupy Wall Street in the US (not only in NYC), a satellite Indignados movement in Israel, youth riots in London, a big wave of miners’ protests in South Africa, etc. Late in the year Russia witnessed massive demonstrations against the purportedly fraudulent parliamentary elections and announcement of V. Putin’s run for another presidency term. It then had a tail in mass mobilizations in Bucharest in January–February 2012. And while all of this continued to simmer and crystallize politically, 2013 brought new waves of protest to Bulgaria and later Sofia in particular, to Brazilian cities and to Istanbul and Ankara. I see all of these as a part of the *annus mirabilis* of 2011.

I would argue that while all these different protest waves have world-systemic properties, they are, in fact, critical junctions within the global shift in hegemony and the contradictions that that global shift expresses. Each single one of them is different though. With a classic comparativist methodology you would look at them as so many discrete cases and you would find a lot of difference, contrasting properties even. The Arab spring against dictatorship is, of course, very different from the anti-austerity European mobilizations of 2011 and Occupy Wall Street, let alone the Maoists in India or the localized uprisings in China. There was a whole contingent of ‘professional mobilizers’ from the *Otpor* movement in Belgrade participating in the first blossoming of OWS, but back in Belgrade they said that “nothing that we did in New York was of relevance to Serbia”. That sort of observation was a *right* comment, I think, though only in a superficial way. So again, if you do

a classical comparative method, the coherence of 2011 falls entirely apart because you will have to deal with very different properties.

My argument would be that all these diverse properties are, in fact, reflective of the particular critical junctions of these particular rebellions with the global process of capitalist transformation and contestation. So, if we theorize the critical junctions of Latin America, or of Africa, of the East and Southern Europe, New York, Moscow, Bucharest, Sofia, Indian and Chinese rebellions, then we can actually, — if we theorize the critical junctions, — we can actually recompose a global picture and see that the structuring principles of the system as such, working out differently in different places, are the drivers behind all these varied rebellions, as was the case in 1968 and after. I realize that I do not have time to illustrate this grand claim now. But it will in any case be clear in what ways a critical junctions approach differs from a regular comparison of discrete cases. It assumes that the cases are in fact not discrete and not only located in local time. They are produced together in global time, respond to each other, and to their particular global/local predicaments within a global cycle of accumulation, contestation and change. There is synchronization and integration in ways that produce differentiation. We are still looking at the global/local unfolding of these stories of crisis, change and contestation. There is ongoing contingency, new elements are added regularly, but not in entirely unstructured ways. Thinking about critical junctions is a way to get at that structured contingency.

- 
1. Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method by Philip McMichael. In *American Sociological Rev.* Vol. 55, № 3 (Jun. 1990). P. 385–397. Article Stable [Electronic resource]. URL: <http://www.jstor.org/stable/2095763>
  2. *The First 5,000 Years* by David Graeber Melville House, 2011.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

**Д. Калб**

## **КРИТИЧЕСКИЕ СТЫКИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ**

Автор вводит и обосновывает использование понятия «критические стыки». Это понятие рассматривается в свете дискуссий о модерности, затем излагаются его методологические основания и анализируются альтернативные сравнительные методов. В заключительной части автор дает пример анализа «критических стыков» применительно к интерпретации событий «удивительного» 2011 г.

Ключевые слова: критические стыки, модерность, сравнительная методология, глобализация.

Понятие «модерность» находится в центре дискуссий последние 20–30 лет. Однако 20–30 лет назад говорили скорее не о «модерности», а о «модерниза-

ции». Теория модернизации вполне осознанно исходила из восхождения к глобальному доминированию Европы, особой европейской цивилизации, для которой были характерны высокая урбанизация, индустриальный капитализм, профессионализация и рационализация. Парадигма теории модернизации была затем расширена для анализа процессов во всем мире, но вскоре подверглась критике со стороны миросистемного подхода и марксизма за навязываемый универсализм, бывший продуктом вполне конкретного, стремившегося господствовать над периферией региона, и позднее со стороны постмодернизма — за приверженность к «большим нарративам». В 80–90-е гг. на первый план выходит понятие «модерность», существительное, указывающее на состояние, в отличие от подчеркивающего процесс понятия «модернизации», что свидетельствует о важном изменении временных и пространственных рамок. Стало возможным говорить об африканской модерности, о множественных модерностях, о постколониальной модерности. Особо следует упомянуть работы Дж. Гуди, который, поместив европейское развитие в более широкий пространственный контекст Евразии и раздвинув временные границы анализа, показал, что модерность — это исторический комплекс экономических, политических, культурных и научных новаций, возникающих в урбанизирующихся обществах. В целом децентрация содержания понятий «модерность» и «модернизация» совершенно не случайно происходила в момент утраты Западом глобального доминирования, однако урбанизация, специализация, классовое образование остаются универсальным ядром модерности. Именно эти процессы можно видеть в ныне растущих гегемонах. Вопрос масштаба, очевидно, играет сегодня важную роль: городские республики или малые государства уже не могут выступать независимыми силами в модерности. Потому для производства модерности четыре элемента задают аналитическую рамку: урбанизация, специализация, классовое образование, пространственный масштаб.

Методология также претерпела изменения. Если для теории модернизации, обращенной к анализу европейских процессов, очевидным их «вместилищем» были национальные государства, то в условиях глобализации необходимо сменить оптику: все разнообразные локальности обретают свое место (slot) в глобальной системе, имеют особенное отношение к гегемонам. Эти места лишь точки в глобальном упорядочении, ибо они изменчивы, и сама глобальная система подвижна. Потому важно не столько сравнение между этими точками, но выявление связи между глобальными и локальными историями. Эти локально-глобальные взаимодействия и названы «критическими стыками», т. е. многоуровневыми и разномасштабными механизмами интеграции и дифференциации локальностей в глобальной модерности. В отличие от сравнительных подходов Ч. Тилли и Ф. МакМайкла «критические стыки» позволяют выявить эмерджентные свойства индивидуальных случаев и учесть изменчивость самой глобальной системы. В качестве примера можно привести дискуссию об осевом времени. Отказавшись от идеалистической трактовки Ясперса, Д. Грейбер показывает, что культуры осевых цивилизаций были ответами на процессы урбанизации и классового образования. В качестве другого примера можно рассмотреть события 2011-го — «удивительного года». Это

удивительный год потому, что с 1968 г. не происходило стечения столь многочисленных и столь распространенных по всему миру протестных движений, как в 2011 г. Год 1968-й был знаковым в европейском цикле гегемонии, поскольку капитализм как структурирующая сила модерности утратил легитимность. Многочисленные протесты, виденные нами в 2011 г. (в Латинской Америке, Индии, Китае, США, Европе, арабских странах, Восточной Европе и даже России), имеют не только миросистемные характеристики, но и являются критическими стыками в глобальной перестройке гегемонии, несмотря на то, что каждое из протестных движений носит локально обусловленный характер. Другие сравнительные методологии рассматривали бы эти протестные движения как различные, несвязанные случаи. В нашем подходе мы можем раскрыть связь этих локальных протестов с глобальным процессом преобразования капитализма, смены структурирующих принципов системы, которая влечет за собой различные последствия в разных локальностях, но в глобальном времени. Синхронизация и интеграция осуществляются таким образом, что производится дифференциация. Изучая критические стыки, мы сможем раскрыть суть этих структурных перемен.

УДК 316.422:17 + 316.346.2-055.2 + 316.6

**М. Н. Липовецкий**

### **PUSSY RIOT: ТРИКСТЕР И СОВРЕМЕННЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ РЕЖИМ**

В статье рассматриваются культурологические аспекты панк-молебна группы Pussy Riot. Особое внимание уделяется связи этой акции с культурой советского трикстера, а также реакциям российской интеллигенции на панк-молебен и преследование участниц группы.

Ключевые слова: Pussy Riot, трикстер, гендер, неотрадиционализм.

Постановка вопроса о «стыках модерности» выдвигает на первый план представление о внутренней противоречивости и неоднородности модерности. На мой взгляд, такой подход куда более правомерен и продуктивен, чем любые попытки выявить некий постоянный (или альтернативный) набор качеств, определяющих данное состояние общества. Отказ от каталогизации необходимых и достаточных свойств модерности предполагает понимание последней как конфликтного поля, на котором сталкиваются различные дискурсивные и институционные формации, каждая из которых генеалогически восходит к разным этапам в истории модерности, а также к домодерным и постмодерным контекстам. (Хочу, кстати, подчеркнуть, что для меня постмодерн не противоположен модерности, являясь лишь одной, скорее всего не последней, из ее поздних фаз.)

«Стыки модерности», разумеется, не ограничиваются теоретическими дискуссиями. Дискурсивные и институциональные конфликты разворачиваются не только в политике и экономике, но и на поле культуры. Более того, как мне кажется, в сегодняшней российской ситуации именно культурные феномены приобретают значительно более важное значение, чем сугубо политические или социально-экономические явления; именно в культурном поле яснее, чем где бы то ни было, видны стыки и развилки, определяющие не только текущее состояние российской модерности, но и ее дальнейшую динамику.

Видеоперформанс Pussy Riot «Богородица, Путина прогони!», выпущенный в Интернет в феврале 2012 г., и последовавший за этим процесс над участницами панк-группы представляются мне центральным *событием* современной русской культуры. Думаю, только через несколько лет станет видно, насколько велико влияние на общее состояние современной русской культуры того обстоятельства, что в настоящий момент Надежда Толоконникова и Мария Алехина отбывают тюремное заключение за свой панк-молебен. Эффект Pussy Riot, на мой взгляд, сопоставим с тем, в какой мере заключение Михаила Ходорковского повлияло на развитие российской экономики последнего десятилетия. Вопрос о «стыках модерности» встает и в том и в другом случае с особой, сверхдраматичной остротой.

В своей статье через анализ реакций российского «образованного сообщества» на панк-молебен и судебный процесс над тремя участницами группы Pussy Riot, ни в коем случае не претендуя на полноту обзора, я хотел бы показать, как в этом культурном феномене столкнулись два взаимосвязанных, но противоположно направленных вектора в динамике постсоветской модерности.

С одной стороны, это «*постмодернизация*» дискурсов советской модерности. Эту трансформацию я постараюсь продемонстрировать через анализ того, как преобразуется в перформансе Pussy Riot стратегия такого протагониста неофициальной советской модерности, как трикстер. Возрождение и обновление стратегии трикстера в панк-молебне Pussy Riot особенно заметны на фоне радикального падения культурного значения этого тропа в постсоветский период. Как я полагаю, такой подход (разумеется, ни в коей мере не претендующий на универсальность) позволяет вписать эту группу в контекст русской культурной истории XX в. Вместе с тем участницы Pussy Riot ввели постмодернистскую эстетику в политический контекст, чем заставили вспомнить не только о диссидентском искусстве 60–70-х, но и о традициях русского авангарда — и свойственных для авангарда критериях успеха. Как писал, например, Михаил Ямпольский, «подобные [Pussy Riot] акции приобретают смысл только в контексте реакций, которые они вызывают. Можно даже сказать, что реакция — едва ли не основной компонент действия» [23]. А Кевин Платт добавлял: «Хотя реакции на хэппенинг, открытый по своей природе, носили подчас противоречивый и осуждающий характер, они свидетельствовали об успехе стратегии, избранной Pussy Riot» [29]. Реакции эти, как все помнят, включили в себя и судебный процесс, и «двушечку», и отказы в УДО. Однако все-таки важнее всего оказался тот масштабнейший диспут о Pussy Riot, кото-



рый захватил все медиа, и прежде всего блогосферу, и фактически расколол общество. Причем этот раскол затронул прежде всего либеральную интеллигенцию и других участников протестного движения.

С другой стороны, дебаты о Pussy Riot оказались лакмусовой бумажкой современной российской *демодернизации*, если воспользоваться термином и концепцией Александра Эткинда, изложенной им в статье «Петромачо, или Механизмы демодернизации в ресурсном государстве» [13]. Эткинд показывает в своей работе, как в современной России ресурсозависимость приводит к формированию «сословного общества, в котором права и обязанности человека определяются его отношением к основному ресурсу. Принадлежность к военно-торговой элите становится наследственной, как в сословии или касте. Хуже того, она натурализуется, представляется как традиционная и неизменная часть природы, как это свойственно расовому обществу. ...В таком обществе формируется особого рода сословный, моральный и культурный тип, который успешно осуществляет гегемонию над другими группами людей. Иван Грозный назвал этих людей опричниками, потом они назывались как-то иначе, например чекистами. Чтобы отразить не только политэкономические, но и гендерно-психологические черты этого человеческого типа, я называю его “петромачо”».

Оставляя за скобками первый корень этого новообразования, я сосредоточусь на том, как перформанс Pussy Riot выявил репрессивный гендерный режим, доминирующий в современном российском обществе и, как постараюсь доказать, объединяющий правящую элиту с определенной частью либеральной оппозиции.

В моей книге *Charms of the Cynical Reason: The Trickster's Transformations in Soviet and Post-Soviet Culture* (2011) я доказывал, что трикстер становится одним из важнейших тропов советской модерности, переживая именно в советское время невиданный ни прежде, ни потом подъем. С 1920-х гг. фигура трикстера представлена широким спектром персонажей, которые проникают как в официальную, так и в неофициальную, как во взрослую, так и в детскую сферы культуры и неизменно пользуются, как сейчас сказали бы, культовой популярностью. Достаточно напомнить не только об Остапе Бендере (ему на территории бывшего Советского Союза, не исключая и Екатеринбург, поставлена дюжина памятников), но и об эренбургском Хулио Хуренито, бабелевском Бене Крике, булгаковских демонах Коровьеве и Бегемоте, а также о вполне официозных Василии Теркине и деде Щукаре. Трикстер (разумеется, переосмысленный) становится и моделью для многих феноменов андерграунда — от персонажей (Веничка и Гуревич из произведений Вен. Ерофеева, искандеровский Сандро из Чегема) до авторов, строящих свою жизнь как тотальный перформанс («Абрам Терц», Д. А. Пригов, «митьки»). Трикстеры представлены и богатой галереей киноперсонажей — от героев Петра Алейникова и Кости-музыканта Л. Утесова до данэлиевских Афони, Уэфа и Би из «Кин-дза-дза» и захаровского Мюнхгаузена. Нелишне в этом контексте вспомнить о таких героях советского детства, как Буратино, старик Хоттабыч, Незнайка, Карлсон и Винни-Пух, а также о трикстерах из советского

анекдотического эпоса — поручике Ржевском, Штирлице и Чапаеве с Петькой, армянском радио, Рабиновиче и Вовочке.

В советской культуре значение этого персонажа существенно отличается от функций плута в европейской культуре. Показательно, что если в европейском плутовском романе трикстер оформлялся как прототип современного субъекта — лишенного связи с традиционными сообществами, легко меняющего идентичности, чей успех зависит исключительно от его или ее индивидуальных качеств (далеко не всегда высокоморальных), то в русской культуре классического периода аналогичная фигура, как правило, окружена негативным ореолом: в диапазоне от Хлестакова и Павла Ивановича Чичикова до Смердякова и Петруши Верховенского. Однако в советский период интерпретация трикстера радикально меняется: его амбивалентность и маловыскоморальность скорее вызывают у читателя и/или зрителя восхищение, чем осуждение. Ш. Фитцпатрик в своем исследовании «Сорвать маски! Идентичность и самозванство в России XX века» (2005), с опорой на многочисленные документы 1920–1930-х гг., продемонстрировала, как постоянно меняющаяся логика классовой дискриминации вынуждала рядового советского гражданина постоянно манипулировать собственной идентичностью, переписывая автобиографию и пытаясь найти свое место как в официальной, так и в неофициальной системе социальных отношений. Из книги Фитцпатрик следует, что включенность субъекта в *обе*, казалось бы, несовместимые по своим целям и принципам системы социальных отношений была негласной *нормой* социального выживания — порождая совершенно слотердайковский феномен советского цинизма как формы модернизации.

Одна из глав книги Фитцпатрик, называемая «Мир Остапа Бендера» и посвященная многочисленным советским самозванцам и аферистам, заканчивалась таким обобщением: «Советские аферисты, как виртуозы по части изобретения себя, занимали свое место в великом революционном и сталинистском проекте переделки личности и общества. В доктринерском понимании Остап Бендер едва ли был “новым советским человеком”. Но кто на самом деле был им в обществе “старых досоветских людей”, пытающихся изобрести себя заново? Скучая от строительства социализма, Бендер и его коллеги-аферисты были образцами само-конструирования. С этой точки зрения есть смысл присмотреться к метафоре “строительство социализма”, лежавшей в основании довоенного сталинизма. Не было ли лицедейство (*impersonation*), являвшееся специализацией трикстеров, ее оборотной стороной?» [24].

Иными словами, именно цинизм, художественным образцом которого становится Остап Бендер, воплотил наиболее массовый и, более того, наиболее *жизнеспособный* образец приспособления к условиям советской модерности.

Обращение историка к трикстерам и Остапу Бендеру как к образцам *нового советского человека* не случайно, а глубоко закономерно. Именно советский трикстер стал воплощением невидимой, но вездесущей реальности советской модерности — а именно второй, или «теневого», экономики и социальной, основанных на блате, систематическом обмане системы и коррупции. Как показала Алена Леденева в своих исследованиях этих феноменов [27, 28],

само существование советской социоэкономической системы во многом зависело от этих внесистемных (и даже подрывных!) элементов. Подобные элементы не только позволяли рядовым гражданам получать доступ к теоретически «гарантированным», а фактически недоступным благам и продуктам, но и обеспечивали функционирование «плановой» экономики (институт «толкачей» на предприятиях, «спецобслуживание» в крупных магазинах и т. п.).

Отсюда двойная функция трикстера как феномена советской культуры. С одной стороны, советский трикстер культурно легитимизует и даже символически возвышает советский цинизм. Ведь циничное дву-, а вернее многоличие, ставшее императивом *выживания*; вынужденное участие в «теневой» экономике и социальности, как правило, были сопряжены с чувством вины и стыда, тем более что официальная советская риторика демонизировала конформизм и какую бы то ни было заинтересованность в материальном комфорте («мещанство»). Образы обаятельных и подвижных советских трикстеров «снимали» у советского читателя и зрителя сознание вины, превращая выживание в свободную и веселую игру с противоречиями между советскими языками и внесоветскими практиками. Наиболее наглядно этот процесс представлен, без сомнения, главным романом советской эпохи — «Мастер и Маргарита», где иерархии советских циников во главе с помещенным в евангельские главы «вечным» циником Понтием Пилатом противостоит компания трикстеров во главе с трикстером-моралистом Воландом.

С другой стороны, советский трикстер, в сущности, представляет собой единственную альтернативу цинизму. По Слотердайку, цинизм неуязвим для любой рациональной или эмоциональной критики. Идеализм или морализм рядом с ним выглядят глупостью. Поэтому в противовес цинизму Слотердаjk выдвигает категорию *кинизма* (родоначальником которого он считает Диогена Синопского): «Только направляясь от кинизма, а не от морали, можно положить пределы цинизму. Только веселый кинизм целей никогда не поддастся искушению забыть, что жизни нечего терять, кроме себя самой» [18, 220]. Кинизм понимается и возникает как радостный и *непрагматический* аспект цинизма, и именно его с великолепной художественной силой воплотили любимейшие советские трикстеры. Ведь для них жульничество и трюки — не средство достижения каких-то жизненных целей (наоборот, жизнь Остапа теряет смысл, когда он приобретает миллион), а способ осуществления *свободы* в обстоятельствах, к свободе не располагавших. Этим веселым, я бы даже сказал живительным, цинизмом объясняется и легендарное обаяние таких культурных фигур, как, скажем, Виктор Шкловский и Даниил Хармс, Фаина Раневская и Никита Богословский, Михаил Светлов и Николай Эрдман.

Однако постсоветское развитие, кажется, внесло существенные коррективы в эти представления. Во-первых, конечно, именно описанная выше зона советского кинизма, укорененная в неофициальной советской экономике и социальности, заняла в 90-е гг. место культурного мейнстрима. Тем самым был снят, наконец, разрыв между социальными представлениями о должном и социальными практиками. Но легче от этого почему-то не стало. Выдвижение на культурную и социальную авансцену демонстративных, но отнюдь

не бескорыстных циников — от покойного Б. А. Березовского до бессмертного В. В. Жириновского — сильно поубавило обаяние советского цинизма. Недаром и в 1990-е, и в 2000-е гг. все попытки заново актуализировать советскую «трикстерскую» классику заканчивались сокрушительными неудачами — достаточно напомнить о монументально-пафосном сериале В. Бортко по «Мастеру и Маргарите» или о монументально-нарциссистском Остапе Бендере в исполнении Олега Меньшикова в сериале У. Шилкиной по «Золотому теленку».

Как все помнят, именно реакция на откровенный, неприкрытый цинизм власти вызвала протесты — сначала осенью 2011-го, а потом весной 2012-го. Если до этого момента постсоветский образованный класс вполне мирился с уровнем нормализованного цинизма, по мере сил поддерживая его, точно по Слотердайку, «с привкусом элегантной горечи», то после памятного заявления бывшего и будущего президентов об их рокировке коллективное отвращение к цинизму, по-видимому, превысило чувство самосохранения. Самое интересное, что сам язык протестов с их специфическим юмором неожиданно возродил казалось бы завядшую *киническую* традицию — с ее непочтительностью к авторитетам и способностью переводить «цинизм силы» на язык «телесного низа». Пиком этого процесса стала акция — а затем и процесс — Pussy Riot, не только вернувшая политическую силу фигуре трикстера, но и придавшая ей новые черты.

Про Pussy Riot, в отличие от советских трикстеров, не скажешь, что они примиряют с общепринятым цинизмом, придавая ему артистический блеск. Как раз наоборот: они лишают цинизм гламурного лоска и именно поэтому вызывают такую бурную — и жестокую — реакцию. Вместе с тем они безусловные наследники советских трикстеров, а также таких постсоветских продолжателей этой линии, как Пригов, Кулик, Мамышев-Монро или «Синие носы». Трикстер занимает лиминальную позицию, что позволяет ему функционировать как медиатору. Трикстер всегда превращает трансгрессию социальных норм в особого рода эстетический жест, причем эти трансгрессии, как правило, устанавливают особые парадоксальные отношения с сакральным. Эстетика панк-молебна Pussy Riot, критикующего церковь в церковном пространстве и соединяющего элементы молитвы и рока, вполне показательна как для трикстерской лиминальности, так и для медиации, эстетического значения трансгрессии и особых отношений с сакральным.

Однако главное отличие Pussy Riot от советских трикстеров заключается в том, что среди последних практически не находилось места женщинам. Отсутствие женщин-трикстеров в русской и советской культуре свидетельствует о ее глубоко патриархальном характере, сохраняющемся даже в андерграунде. Ведь трикстер одновременно трансгрессивен и обаятелен; однако трансгрессии, приемлемые для мужчины, оказываются несовместимы с представлениями о женском приличии, превращая тем самым женщину-трикстера в изгоя, в лучшем случае — в юродивую.

С этой точки особенно отчетливо видно культурное значение Pussy Riot: участницы этой группы революционно ввели в русскую культуру коллективную фигуру женского трикстера — или *trickstar*, по выражению М. Джурих

(Marilyn Jurich), автора книги *Scheherazade's Sisters: Trickster Heroines and Their Stories in World Literature*. Трикстер в интерпретации данного исследователя подрывает не столько социополитический, сколько гендерный режим, обнажая и тем самым дискредитируя сексизм и гендерную репрессию. И хотя Джурих находит прото-трикстеров в фольклоре, безусловно, перед нами пост-модернистская версия этого тропа. «Женщина-трикстер часто стремится к самоопределению, руководствуясь чем-то бóльшим, чем эгоистический интерес: она надеется разоблачить лицемерие и глупость социального порядка. <...> Однако традиция — традиция, поддерживаемая мужской властью, — часто предпочитает видеть женщину-трикстера как угрозу, а ее проделки интерпретировать как служащие исключительно ее интересам» [27, 3, 30].

Примечательна в этом отношении, например, роль балаклавы, с легкой руки ПР ставшей международным символом протестного искусства. С одной стороны, как объясняла одна из участниц панк-молебна Е. Самусевич, балаклава создает обобщенный образ женщины, лишенной черт, традиционно используемых для объективации: «У нас скорее андрогинный образ — некое существо в платье и цветных колготках. Что-то похожее на женщину, но при этом без женского лица, без волос. Андрогин, похожий на героя из мультиков, супергероя» [19]. С другой, именно балаклава формирует коллективного трикстера: объединяя участников карнавальная анонимностью и размывая границы группы. Именно балаклава обеспечивает для надевшей ее *внутреннее* лиминальное пространство, что, кстати, объясняет, почему участницы группы, оставшись на суде без балаклав, вели себя совершенно иначе, чем в балаклавах. Таким образом, балаклава в постмодернистском ключе деконструирует оппозицию между женским и андрогинным, индивидуальным и коллективным, закрытым и открытым, лиминальностью и социальностью.

Многие защитники группы увидели в панк-молебне развитие традиции русского юродства. Надежда Толоконникова в своем заключительном слове на суде поддержала эту интерпретацию, сказав: «Мы искали настоящих искренности и простоты и нашли их в юродстве панк-выступления» [14]. Но только юродство кажется странным синонимом искренности. Такой известный исследователь традиции византийского и русского юродства, как С. А. Иванов, участвуя в дискуссии о Pussy Riot в Сахаровском центре в Москве, опроверг параллель между панк-молебном и жестом юродивого, прежде всего на том основании, что юродивый всегда стремится парадоксально и наглядно предъявить своим зрителям высшую, божественную истину, в сравнении с которой все прочие «правды» оказываются ничтожными, тем самым заслуживая глумления и осмеяния [1; см, также 8, 11, 17, 20]. В своей книге «Блаженные похабы», обсуждая сходства и различия между юродивым и шутком, исследователь подчеркивал: «Шут весь в диалоге, а юродивый принципиально монологичен, шут погружен в праздничное время, а юродивый — вне времени; шутовство сродни искусству, а юродство искусству чуждо» [8, 16]. К этому определению я бы хотел добавить, что хотя юродивый — это тоже версия трикстера, но трикстера, однозначно вписанного в религиозную, а точнее в православную, парадигму и потому претерпевшего соответствующие изменения.

Что же касается Pussy Riot, то их позиция, как уже говорилось, принципиально лиминальна: их панк-молебен, говоря словами Виктора Тернера, находится *between and betwixt*. В отличие от Авдея Тер-Оганяна с его знаменитым перформансом «Юный атеист» (1998) участницы панк-молебна не рубили икон, а молились богоматери. Стилистика панк-молебна построена на демонстративно резких переходах от православной молитвы с поклонами к панковой манере исполнения и танца, от «аллилуйя» к «срань господня». Вместе с тем визуальная эстетика перформанса непротиворечиво *сближает* церковную позолоту с яркими одеяниями выступающих. Михаил Ямпольский, отметивший сходство между визуальным обликом участниц панк-молебна и фигурами с картин позднего Малевича, увидел главный взрывной эффект панк-молебна именно в *нарушении* границ:

Совершенное группой не поддается классификации, прописыванию в определенной «зоне смысла». Балаклавы и гитары не позволяют считать «молебен» прямым политическим протестом, а потому его нельзя судить по меркам политики. Политический и художественный компоненты не дают оценивать совершенное и как чисто религиозный (или антирелигиозный) жест. В итоге наиболее существенным в акции оказывается не содержание молебна – Путин, Гундяев, а сама эта неопределенность. Не случайно все это время в обществе идет обсуждение: был ли молебен политической акцией, кощунством или художественным перформансом. Некоторые не очень проницательные «художники» скептически высказывались о качестве музыки или текста, не понимая, что «искусство» тут – это просто знак этой гибридности. Акция Pussy Riot – одновременно политика, религия и искусство и вместе с тем ничто из этого по отдельности [23].

С трикстерским «нюхом» на лиминальные зоны ПР разместили свой перформанс на границе между сакральным и профанным, церковью и обществом, тем самым выявив неопределенные, а потому – амбивалентные и взрывные зоны российской культуры и политики. Этот аспект панк-молебна подчеркнул Борис Гройс:

А если, например, Pussy Riot делают акцию – причем это даже не акция, они собирают материалы и используют их в своем видео, то неизвестно, нарушают ли они закон или нет. Это спорная проблема, относящаяся к закону, к границам между светским и духовным законодательством и так далее. Иначе говоря, эта акция выявляет проблему, которая до этого не была в центре внимания и вообще не тематизировалась. Эта акция отвечает смыслу современного искусства. Она вывела некое современное положение вещей. Современное положение вещей, которое неясно. <...> Я думаю, что проблема не в том, что они нарушили закон, а в том, что границы закона оказались плохо очерченными либо проблематичными. Мне кажется, что эти акции, которые выявляют текстуру, топологию политического пространства в России и рельефно представляют ее в общественном сознании, – они полезны. <...> Pussy Riot зафиксировали и открыли вниманию общества сложные отношения между сакральным и секулярным пространством, между искусством и религией, искусством и законом. Они всю эту зону сделали явной. Поэтому общество возбудилось и начало это обсуждать. Если бы они этого не сделали, никакого резонанса бы не было [16].

Последующее преследование группы только подчеркнуло взрывной эффект выявленной панк-молебном амбивалентности. Хотя формально участ-

ниц панк-группы судили за действия, совершенные в ХХС 21 февраля 2012 г., на самом деле охранники, выведшие девушек из храма даже не вызвали полицию, а просто отпустили «кошунниц», по-видимому, не усмотрев в их поведении даже признаков мелкого хулиганства. Аресты начались 3–4 марта, после выхода в свет видеоролика, смонтированного из съемок в различных храмах и соединенных с музыкой и пением (именно поэтому на скамье подсудимых оказались лишь трое из пяти участниц). Да и сам *уголовный* суд, строивший свое обвинение на постановлениях Лаодикийского (363 г. н. э.) и Трульского (691–92 г. н. э.) соборов, выглядел прямым продолжением перформанса ПР, разворачиваясь в той же самой — их панк-молебном размеченной — лиминальной зоне между церковью и государством.

Создание и выявление различных зон амбивалентности и лиминальности вообще входит в «круг обязанностей» трикстера. Глядя на Pussy Riot с этой точки зрения и развивая подходы Ямпольского и Гройса, можно утверждать, что эффект панк-молебна вышел за пределы первоначальной цели группы, хотя и остался в рамках трикстерской стратегии. Как показали последовавшие за панк-молебном события, и особенно дискуссия вокруг этих событий, акция Pussy Riot приобрела такой мощный культурный резонанс именно потому, что выявила *множественные* зоны амбивалентности и неопределенности, не ограничиваясь «отношениями между сакральным и секулярным пространством, между искусством и религией, искусством и законом».

Говоря о смысле панк-молебна, нельзя не принять во внимание ту семантику, которая связана с его основным локусом — храмом Христа Спасителя. Дело не только в том, что именно этот главный храм РПЦ стал символом новообретенного альянса между государством и церковью, основанного на взаимных интересах и глубинном сходстве. Широко известная история храма вольно или невольно вошла в контекст панк-молебна. Взорванный в 1931-м и заново построенный в 1994–1997 гг., именно этот храм стал главным символом центрального постсоветского проекта — восстановления «национальной традиции», достигшего своего логического, хотя и гротескного, воплощения в неотрадиционализме путинской поры. С начала 2000-х Борис Дубин и Лев Гудков предупреждали о том, что неопределенная, но отчетливо консервативная, демодернизирующая концепция неотрадиционализма оказалась чуть ли не единственным, но прочным «клеем», сплотившим постсоветское общество: «“Возрождение великой державы” стало тем единственным символическим тезисом, на котором сходятся и либералы-западники, и коммунисты-патриоты, и поборники святой православной Руси. Составные элементы того, в чем именно заключается национальное “величие” державы, как и средства достижения заветной цели, могут существенно различаться, но общей программной композиции это не меняет» [5, 669]; «...россияне по преимуществу позитивно оценивают те институты, символический престиж которых связан с воплощением силы целого и высшими местами в иерархии властей, — таковы армия, церковь, фигура президента. <...> Недоверие и недовольство населения вызывают институты и организации, которые скорее можно было бы условно отнести к светским и современным (= модерным), тогда как позитивную установку

и оценку россияне связывают с остаточными значениями некоей области внеконкурентного, особого, отсылающего к прошлому, к традиции, к авторитету, в большой мере ритуального или церемониального» [6, 255].

Если в 1990-е гг. в качестве модели «России, которую мы потеряли» — или, иными словами, неотрадиционалистских ценностей — служила досоветская эпоха, то в 2000-е этот образ был *дополнен* новонайденной ностальгией по советскому величию. Возникающие по ходу «дополнений» противоречия снимаются в этой модифицированной версии неотрадиционализма единым *имперским* пафосом — синтетическим медийным мифом о Великой Российской Империи, простирающейся от Александра Невского до Леонида Брежнева.

С этой точки зрения клерикализация современной российской политики и растущий православный фундаментализм оказываются лишь *частными аспектами* неотрадиционалистской идеологии. Именно последняя является подлинной мишенью панк-молебна. Сам текст их перформанса прямо указывает на это: «гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах», «чтобы Святейшего не оскорбить, женщинам надо рожать и любить», «Богородица, Дево, стань феминисткой, Стань феминисткой, феминисткой стань». В этот же ряд вписываются и все признаки «непристойности», продемонстрированные Pussy Riot в одежде, танцах и словоупотреблении. Очевидно, что все это не про Путина и даже не про союз между путинским государством и РПЦ. Речь идет о неотрадиционалистских ценностях, *разделяемых большей частью общества*. К этим ценностям, наряду с авторитарными и фундаменталистскими тенденциями, относятся гомофобия, патриархатная репрессия женщин, антифеминизм (как выразилась адвокат потерпевших Лариса Павлова, «феминизм — это смертный грех, как и все неестественные проявления, связанные с жизнью» [9]) и резкое неприятие современного (постмодерного) искусства (по словам известного телеобозревателя М. Леонтьева, «выбираются просто цели: церковь, традиционная мораль, государственные институты, политическая власть и обливаются почти в буквальном смысле говном, причем это выдается как акт искусства» [10]).

Не случайно многие из тех российских знаменитостей и представителей интеллигенции, кто, на первый взгляд, высказался против преследования ПР властями, посчитали необходимым отделить свою позицию от позиции, выраженной панк-молебном. Эти защитники неизменно подчеркивали, что их религиозные чувства также оскорблены перформансом и что поддержка участниц панк-молебна как жертв политической системы ни в коей мере не означает симпатии по отношению к их «отвратительному», «мерзкому», «бездарному» и «безвкусному» перформансу. Эта риторика характерна для А. Навального, Б. Немцова, Б. Гребенщикова, А. Макаревича, О. Басилашвили, В. Шендеровича, З. Прилепина, А. Коха, М. Барщевского, Е. Ройзмана и ряда других известных лиц с либеральной репутацией (не исключая и Д. А. Медведева). Иными словами, многие из тех, кто позиционировался как противник преследований группы, выступая против политического насилия, вместе с тем отчетливо солидаризировались со следующими неотрадиционалистскими аксиомами:



а) искусство, как и любая иная форма культурной деятельности, должно оцениваться моральными критериями, которые, в свою очередь, диктуются религией, а вернее, христианством;

б) отсюда — неклассическое, в особенности современное, искусство не принадлежит к сфере культуры, являясь лишь «эпатажным безнравственным поведением» (М. Барщевский) и должно поэтому квалифицироваться как административное (но не уголовное) преступление.

Показательно, что, критикуя власть за жесткость по отношению к участницам группы, эти же, без сомнения, либеральные защитники высказывались за менее жестокое, но все же наказание участниц панк-молебна за их моральные/религиозные, а также эстетические «безобразия». В сущности, в оценке *культурного* смысла акции Pussy Riot Борис Немцов немногим отличался от Никиты Михалкова, Алексей Навальный от Владимира Соловьева, Борис Гребенщиков от Елены Ваенги, Андрей Макаревич от Иосифа Кобзона, а Евгений Ройзман от Михаила Леонтьева. Разница состояла только в том, что первые были против *уголовного* преследования участниц панк-группы, а вторые — за.

Не менее примечательно и то, как в либеральном дискурсе поддержки Pussy Riot прочно оказался заблокирован феминистический аспект их деятельности. Еще в марте 2012 г., вскоре после ареста участниц панк-молебна, Даниил Дугин предупреждал: «Pussy Riot нужны либеральной общественности не как антипатриархальный, а как антипутинский и антиклерикальный проект» [7]. Между тем феминизм составляет ядро идеологии Pussy Riot. Как говорила об этом Е. Самусевич, «мы просто сидели и смотрели акции, работы западных художниц-феминисток “Гирилья Герлз”, “Райот Герл” и т. д. Мы впитывали все это, потом начали играть словами, и так было придумано название Pussy Riot. Решили, что будем писать песни в стиле панк, панк-феминизм» [19]. В этом контексте существенно и то, что в храме Христа участницы панк-молебна обращались к Богородице как к альтернативному, женскому, божеству. Как справедливо писала Е. Гапова, «...осуществляя свое высказывание при помощи “тела”, использовав в названии провокационное обозначение “женского полового органа” как символа женской власти и восстания (которое в идеале должно привести к полному разрушению старого мира), они ясно обозначили свою позицию. На Западе она было прочитана сразу же — чего, за редким исключением, не произошло на родине... Они апеллируют к тому, что не было теоретизировано у нас в качестве категорий социального угнетения: сексуальности, домашней работе, языку. Они обращаются к смыслам, понятным Западу, потому что именно там они были сформулированы, но именно поэтому у нас эти смыслы зачастую считаются “буржуазными”» [3]. Для отношения *либерального сообщества* к феминизму Pussy Riot в высшей степени показательна реакция К. Собчак на слова Е. Самусевич об интересе участниц группы к проблеме сексизма в российском обществе: «Хочется понять, как молодые, симпатичные девушки собираются и обсуждают тему сексизма! Я, например, не могу себе представить, что вот мы с Соколовой собрались и обсуждаем тему сексизма, а не, допустим, мужиков» [19].

Сформулируем более определенно: не только феминистические аспекты деятельности Pussy Riot оказались заблокированы в публичных дебатах о группе, но и участницы группы стали объектами *гендерного террора*, в том числе и в либеральной среде. Вообще сильнейшим лейтмотивом, проходящим через дискурс либеральных защитников Pussy Riot, является представление о *неполноценности* участниц группы, обусловленной их *гендером*. Во-первых, постоянно подчеркивается интеллектуальная несостоятельность участниц панк-молебна — диапазон весьма широк: от «не сильно думающих» (Б. Гребенников) и «дур» (О. Журавлева) до «дебилков» (А. Кох). Наиболее откровенно высказался в этом отношении А. Навальный: «Акция их в ХХС — идиотская, и спорить тут нечего. Мне бы, мягко говоря, не понравилось, если бы в тот момент, когда я в церкви, туда забежали какие-то чокнутые девицы и стали бегать вокруг алтаря. Имеем неоспоримый факт: дуры, совершившие мелкое хулиганство ради паблисити» [12]. «Идиотская акция», «чокнутые девицы», «дуры», «мелкое хулиганство ради паблисити» — все это необычайно точно вписывается в логику патриархатной демонизации женщин и в особенности трикстеров.

Во-вторых, как защитники, так и обвинители Pussy Riot слишком часто сходятся в том, что отказывают молодым женщинам в каком бы то ни было свободном самоопределении (*agency*). Различие между либералами и консерваторами в этом вопросе носит сугубо технический характер: если в либеральных блогах и медиа на роль кукловода были определены Петр Верзилов или же тайные враги патриарха Кирилла, то в консервативном дискурсе в той же функции фигурируют Березовский, оппозиция или Госдеп. Даже заключительные выступления Толоконниковой, Алехиной и Самусевич на процессе были встречены — в том числе и либералами — с недоверием: кто им написал такие хорошие речи?

Гендерный террор против Pussy Riot достигает своего апогея в мотиве физического наказания участниц панк-молебна как желательной альтернативе тюремному заключению. Гениальная мысль о необходимости «отшлепать» молодых женщин стала популярным мемом. Первым на эту тему, по-видимому, высказался Борис Немцов. Его немедленно поддержал Иван Охлобыстин, а за ним Геннадий Зюганов. Судя по опросу ВЦИОМа, эта гениальная идея пришлась по сердцу 27 % опрошенных россиян. Остается только процитировать саркастический комментарий Кирилла Кобрин: «Вот этот тон части русской либеральной общественности — высокомерное мачистское неуважение к другому полу, исходя из которого женщина, по определению, не может произвести сознательного действия... Я вижу здесь абсолютное несовпадение их демократических, либеральных убеждений с глубоко мачистским и глубоко, по сути дела, советским авторитарным сознанием» [22, см. также: 2, 15].

Полагаю, в этом саморазоблачении многих (к счастью, не всех!) либералов как носителей той самой идеологии, против которой выступает Pussy Riot, состоит один из важнейших, хотя и сразу замеченных эффектов их перформанса. Дискурс, спровоцированный панк-молебном, обнажил не только лицемерие оппозиции, согласной поддерживать «девчонок» только в качестве раз-

дражителей своих врагов, при этом не делая даже попыток скрыть свое презрение к ним и их искусству: в ходе публичной дискуссии о панк-молебне и его авторах-исполнителях проступили — как я пытался показать — и глубокие «духовные скрепы», соединяющие современный российский либеральный дискурс с консервативным. Речь, повторюсь, идет об общих для либералов и ортодоксов отождествлении моральных ценностей с религией; об иерархических, эссенциалистских и, строго говоря, домодерных представлениях о культуре (отсюда радикальное неприятие contemporary art), а самое главное, о преданности самым архаичным патриархатным стереотипам — априорно лишаящим женщину интеллекта, свободы воли и личного достоинства.

Таким образом, зона амбивалентности, выявленная перформансом ПР и спровоцированной им дискуссией, помимо отношений между государством, обществом и церковью, искусством и религией, втянула в себя и отношения между оппозицией путинскому режиму и его сторонниками. Как выяснилось в ходе этой дискуссии, наибольшей *политической* нагруженностью обладают именно вопросы *культуры* — и именно здесь расхождения между записными либералами и ярыми консерваторами почти стираются. Патриархатный тон, объединивший критиков и сторонников Pussy Riot, оказывается решающим фактором: в конечном счете именно патриархатность служит лучшей почвой для авторитарности.

М. Джурих высказала предположение о том, что стратегия трикстера состоит в превращении гендерной репрессии в особого рода трюк, основанный на использовании гендерной маргинализации как условия для трансгрессии: «женщина в силу своего гендера всегда была маргинализирована, а трикстер — вдвойне маргинализированная фигура. Отличие же последней состоит в том, что трикстер использует маргинальность как преимущество, *намеренно дерзко* и непристойно нарушая нормы ради того, чтобы оживить общество...» [26, 34].

Эта характеристика представляется точной по отношению к Pussy Riot и их акции. Правда, с важным уточнением: их «трюк» и состоял в *обнажении* той самой репрессии, о которой они пели в панк-молебне. Благодаря этому «трюку» в их перформанс оказалось вовлечено и государство, и общество. Продолжением панк-молебна стали суд, обернувшийся спектаклем беззакония [4], и публичные дебаты о Pussy Riot, в которых даже защитники группы включились в аналогичный спектакль сексизма. Иначе говоря, их «трюк» состоял в демонстрации собственного гражданского и гендерного бесправия.

Дмитрий Быков закончил свой импровизированный комментарий к аресту участниц панк-молебна следующей строфой:

И куда страшней для всякой гнуси  
Всенародно чаемый итог —  
Чтобы вместо riot of the pussy,  
Тут случился riot of the cock [25].

Не станем упрекать поэта за столь откровенный фаллологоцентризм. Показательно, скорее, иное — неспособность Быкова как видного либерала понять то обстоятельство, что «riot of the pussy» оказывается в современной

России значительно радикальнее, чем «riot of the cock». Ведь именно подрыв гендерного режима, осуществленный Pussy Riot, ближе всего соответствует той форме политической борьбы, которую Фуко считал центральной для модерности. В статье 1982 г. «Субъект и власть» он выделял борьбу «со всем, что привязывает индивида к самому себе и тем самым обеспечивает его подчинение другим», добавляя: «Сегодня же преобладает именно борьба... против подчинения субъективности, даже если борьба против господства и борьба с эксплуатацией не исчезли» [21, 168].

---

1. Видеозапись дискуссии в Музее Сахарова в Москве [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=1663> (дата обращения: 06.11.2013).

2. *Веригина М.* О роли садо-мазо в деле Pussy Riot [Электронный ресурс]. URL: <http://m-verigina.livejournal.com/90487.html> (дата обращения: 06.11.2013).

3. *Ганова Е.* Дело Pussy Riot: Феминистский протест в контексте классовой борьбы // Неприкосновенный запас. № 85 (5:2012) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/2794> (дата обращения: 06.11.2013).

4. *Гессен М.* Суд как миссия. Художественная // Новое время [Электронный ресурс]. URL: <http://thenewtimes.ru/articles/detail/69910> (дата обращения: 06.11.2013).

5. *Гудков Л.* Негативная идентичность. М., 2004.

6. *Дубин Б.* Россия нулевых. М., 2011.

7. *Дузум Д.* Прекрасный, то есть второстепенный пол // Colta.ru. 2012. 29 окт. [Электронный ресурс]. URL: <http://os.colta.ru/art/events/details/35486/> (дата обращения: 06.11.2013).

8. *Иванов С. А.* Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005.

9. *Кичанова В.* Подлинная история Пусси Райот [Электронный ресурс]. URL: <http://profilib.com/chtenie/135636/vera-kichanova-pussi-rayot-podlinnaya-istoriya-11.php> (дата обращения: 06.11.2013).

10. Леонтьев: Никто не извлечет уроков из Pussy Riot [Электронный ресурс]. URL: <http://actualcomment.ru/news/47010/> (дата обращения: 06.11.2013).

11. *Муравьев А.* «Три щелчка попу», или Новое юродство как рефлекс // Полит.Ру. 2012. 24 апр. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.polit.ru/article/2012/04/23/Riot\\_three\\_kicks/](http://www.polit.ru/article/2012/04/23/Riot_three_kicks/) (дата обращения: 06.11.2013).

12. Навальный вступился за Pussy Riot, хотя признал их акцию идиотской. 2012. Окт. 7 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbcdaily.ru/politics/562949983174898> (дата обращения: 06.11.2013).

13. Неприкосновенный запас. № 88 (2:2013).

14. Pussy Riot: последнее слово обвиняемых // Новое время [Электронный ресурс]. URL: <http://newtimes.ru/articles/detail/55357> (дата обращения: 06.11.2013).

15. *Росса Б.* Pussy riot как возжеление [Электронный ресурс]. URL: <http://poslezavtra.be/optics/2012/11/08/pussy-riot-kak-vozhdelenie-pochemu-ya-podderzhivayu-pussy-riot-no-ne-razdelyayu-argumentov-v-ih-zaschitu.html> (дата обращения: 06.11.2013).

16. *Сапрыкин Ю.* Думаете, западная публика любит современное искусство? Ни фигя подобного! [Электронный ресурс]. URL: <http://www.afisha.ru/article/boris-grojs-o-pussy-riot-fundamentalistah-i-zasil-e-videorolikov/> (дата обращения: 06.11.2013).

17. *Сатаров Г.* Кошунство вместо юродства [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ej.ru/?a=note&id=12178> (дата обращения: 06.11.2013).

18. *Слотердейк П.* Критика цинического разума / пер. А. В. Перцева. Екатеринбург, 2001.

19. *Собчак К., Соколова Е.* Екатерина Самусевич: Нерасчехленная // Сноб. 2012. 19 окт. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.snob.ru/selected/entry/53946> (дата обращения: 06.11.2013).

20. *Стрельцов М.* Все не просто райот [Электронный ресурс]. URL: <http://kbanda.ru/index.php/culture-miscellaneous-2/obshchestvo/261-obshchestvo/2770-vsjo-ne-prosto-rajt-razmyshleniya-v-otpuske.html> (дата обращения: 06.11.2013).
21. *Фуко М.* Интеллектуалы и власть. Ч. 3 : Статьи и интервью, 1970–1984. М., 2006.
22. *Шароградский А.* Обозреватель РС Кирилл Кобрин о смеси Говорухина с Михалковым. Радио Свобода [Электронный ресурс]. URL: <http://www.svoboda.org/content/article/24662246.html> (дата обращения: 06.11.2013).
23. *Ямпольский М. Б.* Три слоя текста на одну извилину власти // Новое время, [www.newtimes.ru/artilces/print/55977/](http://www.newtimes.ru/artilces/print/55977/) (дата обращения: 06.11.2013).
24. *Fitzpatrick, Sheila.* Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton UP, 2005.
25. <http://www.youtube.com/watch?v=UikMqS9sA30>
26. *Jurich M.* Scheherazade's Sisters: Trickster Heroines and Their Stories in World Literature. Westport, L., 1998.
27. *Ledeneva A. V.* Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge ; L., 1998.
28. *Ledeneva A. V.* How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business. Ithaca ; L., 2002.
29. *Platt Kevin.* Examining International Media Coverage and Responses to Pussy Riot [Electronic resource]. URL: <http://cgcsblog.asc.upenn.edu/2012/09/06/examining-international-media-coverage-and-responses-to-pussy-riot-by-kevin-m-f-platt/> (дата обращения: 06.11.2013).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

# КОНФЕРЕНЦИЯ

## «ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI В.»

УДК 008 + 323.28 + 316.485.25 + 28-028.81

Г. Н. Валиахметова

### **СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСПУТА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ИСЛАМСКИМ МИРОМ**

Статья посвящена анализу социокультурных последствий политического конфликта между Западом и исламским миром. Автор раскрывает основные причины и формы проявления нетерпимости в массовой культуре и массовом общественном сознании современных мусульманских и западных сообществ. На фоне возрастания угроз глобальной и региональной безопасности ксенофобия выступает как фактор дестабилизации современного миропорядка.

**Ключевые слова:** Запад, исламский мир, культурные ценности, ксенофобия, исламофобия, нетерпимость, радикализм, терроризм.

Процесс трансформации системы международных отношений последних двух десятилетий привел к обострению внутренних противоречий во многих странах, причем линии «размежевания» в большинстве из них все более приобретают характер межконфессионального, этнического, межобщинно-кланового, религиозного противостояния. Ощущение кризисной ситуации и настрой на самооборону наиболее остро в современных условиях проявляется во взаимоотношениях между Западом и исламским миром. Все чаще в центре внимания конструкторов глобальной мировой системы оказывается культурное (цивилизационное) измерение политического по сути конфликта интересов между двумя мирами. Эти отношения осложнены огромным количеством мифов, искаженных представлений друг о друге, предрассудков и предубеждений. Они существуют в обоих мирах и препятствуют налаживанию необходимого взаимопонимания и взаимодействия. О росте исламофобии на Западе и антизападных настроений в мусульманских сообществах свидетельствует активизация информационной и психологической войны, получающей наибольшую подпитку терактами, география которых стала предельно широкой.

Научное осмысление указанных процессов приобретает особую актуальность ввиду того, что ксенофобия способна оказывать влияние на принятие серьезных политических решений, выступая тем самым в качестве фактора угрозы современному миропорядку.

Подъем транснационального религиозного экстремизма является главной питательной средой для культивирования исламофобии в странах Запада. В результате действий немногочисленного, но весьма активного крайнего крыла исламистов-радикалов вполне естественная резкая эмоционально-негативная реакция на терроризм переносится на исламский мир в целом. Эффект неприятия усиливается появлением разного рода идеологических концепций, зачастую политически ангажированных, базирующихся на тезисах о том, что в исламской религии имеется некое агрессивное, нетерпимое, экстремистское начало, что мир ислама якобы несовместим с глобализацией и отвечает на ее вызовы утопичными проектами переустройства мира и терроризмом. Наиболее показательные примеры подобного подхода — теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее подвид в изложении Б. Льюиса, теория «конфронтации цивилизаций» Б. Тибби и др.

Неграмотная критика исламистского экстремизма вырождается в исламофобию, в том числе в работах некоторых российских политологов и журналистов, которые вслед за западными коллегами выдвигают тезис о якобы присутствующем мусульманскому миру неприятии демократии и модернизации и, как следствие, об обреченности мусульманских стран на отставание. В итоге в массовом сознании Запада исламский мир начинает восприниматься как некое гомогенное пространство, экономически отсталое, с авторитарными и диктаторскими политическими режимами, этноконфессиональными конфликтами, религиозным экстремизмом, массовой преступностью, т. е. как деструктивная сила, угрожающая благополучной части человечества.

В исламском мире мощный толчок к распространению антизападных настроений дала политика западных держав, в первую очередь США, на Ближнем и Среднем Востоке. Как указывает в своих работах Г. И. Мирский, с началом американской интервенции в Ираке (2003) штаб-квартиры радикально-экстремистских организаций в Западной Европе буквально осаждались добровольцами, желавшими записаться в ряды бойцов сопротивления. Миллионы приверженцев ислама по всему миру с одобрением встречали призывы Усамы Бен Ладена к бескомпромиссной борьбе против тех, кто ступил на земли «дар-аль-ислам», кто ведет войну в Ираке и Афганистане. Особую роль в мобилизации масс под радикальными знаменами играет палестинская проблема: лозунг освобождения Иерусалима (третьего по своей святости после Мекки и Медины города ислама) находит живой отклик среди внушительного числа мусульман [7, 44–45]. Формирование негативного образа Запада в мусульманских сообществах зачастую обусловлено неизменной поддержкой США Израиля, «неправильного», с точки зрения большинства мусульманских политиков и идеологов, явления на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Мирский подчеркивает, что всплеск экстремизма и антизападных настроений среди определенной части мусульманского социума, весьма

пестрого и разнородного, не следует отождествлять с бесспорным усилением роли религии в мусульманских сообществах. Тот факт, что все больше женщин в Египте и Турции носят хиджаб, еще не свидетельствует о том, что общество попало под влияние исламистов-радикалов; мало кто в современных мусульманских странах захотел бы жить под властью такого антигуманного режима, какой был сформирован талибами в Афганистане [7, 45–46].

К аналогичным выводам в 2012 г. пришли специалисты американского исследовательского центра «Pew Research Center». Как показывают проведенные ими опросы общественного мнения в 38 странах распространения ислама, подавляющая часть мусульманского населения не хочет жить при диктатуре, одновременно выступая за демократию и приведение законов в соответствие с нормами шариата. При этом ключевыми угрозами национальной безопасности респондентами были названы преступность, безработица, межэтническая рознь, коррупция [14], а также терроризм как несовместимый с нормами Корана метод защиты ислама от врагов, ведущий к дестабилизации внутривнутриполитической обстановки и росту международной напряженности [12]. Конечно, теракты, совершенные представителями исламского мира, не могут не бросить тень на их единоверцев, но, как свидетельствуют результаты вышеуказанного исследования, надо четко понимать, что подавляющее большинство мусульман не имеет к ним никакого отношения.

Тем не менее на Западе привычными стереотипами стали представления об исламском мире как сообществе, якобы приверженном идее насилия и отвергающем демократию, секуляризм, модернизацию, права и свободы человека, равенство полов и т. д. Сегодня в общественном мнении Европы и США преобладает негативный образ ислама. Так, недовольство в связи с проживанием мусульман в их стране в 2004 г. высказали 75 % шведов, 72 % голландцев, 67 % датчан и швейцарцев, 65 % австрийцев и бельгийцев, 61 % немцев, 56 % финнов, 48 % испанцев, 44 % итальянцев, 39 % британцев, 35 % греков [5, 168]. Материалы социологических исследований различных исследовательских коллективов (Pew Research Center, Gallup, Cornell University) указывают, что через полгода после теракта 11 сентября 2001 г. неблагосклонность к мусульманам выросла в США почти вдвое (с 17 до 29 %), к 2007 г. ее стали выражать уже более трети американцев (35 %), к 2011 г. — более половины [10]. По результатам опросов общественного мнения в США, Западной Европе и России, проведенных исследовательским центром «Pew Research Center» в 2011 г., более половины опрошенных ассоциируют исламский мир с насилием (50 %), нетерпимостью и фанатизмом (58 %). Примечательно, что аналогичные стереотипы в отношении западного мира демонстрирует население мусульманских регионов (соответственно 66 и 57 %) [12].

Вместе с тем следует отметить, что исламофобия (форма ксенофобии как состояния массового сознания) имеет различные истоки в различных странах и регионах западного мира. Так, для Европы скорее характерна «арабобоязнь», поскольку с арабами в первую очередь ассоциируется международный терроризм. Одной из важных площадок психологической войны стал вопрос о приеме Турции в Европейский союз, перспективы которого воспринимаются как



демографическая и экономическая угроза, как покушение на европейскую идентичность [5, 165–167]. Различные формы предубеждения к исламу как идеологии и религии в целом в большей степени являются атрибутом американского общественного сознания. Для современной России скорее присуще настороженное отношение к «инородцам», а не к «иноверцам», в первую очередь к мигрантам [10].

Подсознательная исламофобия четко проступает в художественной и публицистической литературе, сопровождается нападками на великую арабомусульманскую культуру, которая якобы ничего не смогла создать. Примеров множество — начиная с на шумевшей книги итальянской журналистки Орианы Феллачи «Ярость и гордость» (2002), ставшей апологетикой исламофобии, и заканчивая бесчисленными детективами, фильмами и прочими составляющими массовой культуры, где в качестве «плохих парней» выступают люди с зеленой повязкой на голове, все упоминающие имя Аллаха. Ведущую роль в конструировании и распространении «образа врага» играют массмедиа. Как отмечает Э. А. Паин, руководитель Центра этнополитических исследований НИУ ВШЭ, чтобы испортить имидж, не требуется даже специально употреблять по отношению к мусульманам негативные определения. Достаточно просто соединить в одном тексте такие термины, как «террористы», «экстремисты», «радикалы», «фанатики» и «исламские фундаменталисты» [Там же].

Разжигание антиисламских настроений может привести к катастрофическим последствиям, прежде всего для самого Запада. Примером может служить бойня, устроенная Андерсом Брейвиком в Норвегии 22 июля 2011 г. Она имеет уникальные мотивационно-идеологические особенности. Фактически это первое террористическое воплощение нарастающего антимусульманского радикализма на Западе, возникшее в атмосфере растущего недоверия и враждебности, которые подпитываются разного рода конспирологическими теориями — о предполагаемой «исламской угрозе», о «причастности» к ней западных политиков и об их слабости перед ее лицом [6].

Авторитетный российский исламовед А. В. Малашенко считает, что предубежденность против ислама на Западе обусловлена элементарным страхом перед растущим количеством мусульман: личное восприятие меняющейся улицы в твоём городе; скопление чужих, говорящих на ином языке людей и демонстрирующих по тем или иным причинам свою собственную, отличную от местной культуру; мечети с сотнями и тысячами молящихся; появление этнических и исламских (халляльных) магазинов и лавок, а также кинотеатров и телеканалов, вещающих на арабском и турецком языках, — все это пугает и вызывает психологический дискомфорт. Возникает конфликт идентичностей, который нельзя назвать столкновением цивилизаций — скорее «трением» между ними [5, 171]. Как «трение идентичностей» можно интерпретировать острую полемику, развернувшуюся во Франции, Германии и Голландии (2004–2005) по вопросу о публичном ношении женщинами-мусульманками хиджаба (головного платка). В серьёзную политическую проблему, к тому же связанную с правами человека, перерос этот вопрос в светской мусульманской Турции. В то же время в странах с длительной историей совместного проживания

представителей различных этносов и конфессий (Россия, США, Великобритания) «дело о платках» не вызвало столь мощного общественно-политического резонанса ввиду наличия исторически сформировавшейся традиции терпимого отношения к внешним проявлениям идентичности.

По мнению Оливье Руа, в XXI в. религия остается фактором обособления социумов; исламская идентичность оказалась сильнее этнической (арабской, пакистанской и др.) и психологически более конкурентоспособной по сравнению с христианской. Современное христианство утратило былое влияние на общество, падение религиозности в Европе ослабляет идентичность европейцев, делая их менее состоятельными перед лицом энергичного политизирующего ислама. В этом французский исламовед видит возможную причину попыток рассматривать проблемы взаимоотношений Запада с исламским миром с точки зрения межрелигиозного противостояния — христианских (либеральных) ценностей и исламских (консервативных) [13].

Немалую роль в существующих противоречиях между Западом и исламом играют различия в морально-этических установках. Так, мусульманские мигранты, опасаясь утратить свою религиозно-культурную идентичность, не желают интегрироваться в западные общества, объясняя это тем, что исповедуемые европейцами ценности противоречат их религиозным убеждениям: это касается положения женщин, однополых браков, распространения наркотиков, пьянства, порнографии. По данным исследований «Pew Research Center», более половины жителей мусульманских регионов считают распространение западной массовой культуры серьезным источником угрозы моральным устоям их общества [13]; западный образ жизни ассоциируется у мусульман с эгоизмом (68 %), поклонением «золотому тельцу» (64 %), аморальностью (61 %) [12]. Запад, со своей стороны, ссылаясь, например, на исламскую традицию многоженства и ранних браков, тоже упрекает ислам в аморальности и сексуальной распущенности. Примечательно, что о «моральном несовершенстве» мусульман писали еще авторы хроник крестовых походов [2] и европейские путешественники XIX в. [3, 4, 11].

Очевидно, что здесь сказываются ложные стереотипы и предрассудки, которые сформировались в предшествующие столетия на основе зачастую неверных сведений об исламе и практически вошли в генетический код западного человека. Сакраментальная, импульсивная, широко растиражированная фраза Дж. Буша-младшего о «крестовом походе» есть косвенное подтверждение наличия подозрительности в отношении ислама со стороны Запада, традиции, опирающейся на глубокие историко-культурные истоки [5, 165]. Историческая память срабатывает и у мусульманских народов: когда западное «миссионерство» сочетается с высокомерием, давлением или агрессией, оно вызывает в исламском мире воспоминания о колониальном прошлом и национально-освободительных движениях, которые в большей или меньшей степени, но обязательно обретали форму джихада [8].

Наиболее остро в культурно-политическом диспуте между исламским миром и Западом стоит вопрос о соотношении либеральных свобод личности с правом на уважение религиозных ценностей и религиозных чувств верую-

щих. Некоторые проявления мусульманской традиции действительно несоместимы с западными представлениями о цивилизованном обществе и вызывают негативную реакцию в виде не всегда политкорректных, а порой и откровенно провокационных высказываний или действий западных политических и общественных деятелей, представителей СМИ, культуры и искусства. В свою очередь, мусульмане, обвиняя западный мир в забвении собственной (христианской) религии, категорически протестуют против любой критики исламских норм. Еще дальше идут радикальные исламисты, которые открыто угрожают расправой каждому, кто демонстрирует неуважение к исламу.

К сожалению, подобные угрозы не беспочвенны и время от времени выливаются в массовые волнения и беспорядки мусульман в западных и исламских странах, а в некоторых случаях — в яростные публичные протесты, нападения на посольства западных государств, убийства. Подобную реакцию вызвали публикации романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи» (1988–1989) и карикатур на Пророка Мухаммеда в датской, а затем в некоторых других европейских газетах (2005–2006); выход в свет 17-минутного фильма голландского политика Г. Вилдерса «Фитна» («Смута», 2008) и «Невинность мусульман» американского режиссера Накула Басет Накула (Сэма Баджета) (2012). «Горячие» споры развернулись вокруг идеи строительства мечети недалеко от Граунд Зеро — того самого места в Нью-Йорке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра и где в результате теракта 11 сентября погибли тысячи людей. Перечень подобных примеров можно продолжить.

В то же время следует признать, что реакция со стороны мусульман бывает не столь массовой и острой, когда большинство людей понимает, что их пытаются спровоцировать на противоправные действия, представить «нецивилизованными», в очередной раз обвинить в неприятии демократии и свободы слова. Примером могут служить не ставшие массовыми волнения 2010 г., возникшие из-за намерения американского пастора Терри Джонса сжечь 200 экземпляров Корана в очередную годовщину терактов 11 сентября. Против планов Джонса выступили Ватикан, Генсек ООН, ряд мусульманских стран, Индия, руководители некоторых религиозных конфессий в США. Влиятельные американские политики (президент, госсекретарь, генпрокурор, генсек НАТО, командующие коалиционными войсками и американским корпусом в Афганистане и др.) резко осудили намерения пастора, подчеркнув, что подобные действия усугубят и без того сложное положение союзных войск в Афганистане и сыграют на руку экстремистам, пополнив их ряды свежими силами. 20 марта 2011 г. Джонс все же публично сжег Коран, что спровоцировало радикальных исламистов на массовые беспорядки в Афганистане, включая убийства людей.

Обострение «исламского вопроса» выгодно политическим и идеологическим силам довольно широкого спектра как на Западе, так и в мусульманских сообществах. Кроме того, многие политики, общественные деятели и журналисты не владеют в достаточной мере знаниями по религиозным и национальным вопросам и, навязывая свои необоснованные обобщения и вульгарные стереотипы, будоражат общество, нагнетают в умах людей нездоровые

страсти. Неискушенному человеку сложно, а порой и невозможно разобраться, где исламский экстремизм, а где интерес к нефти; кому нужен суверенитет, а кому — дивиденды с него; кто из представителей духовенства действительно служит верующим, а для кого религия — это способ безбедно обустроить свою жизнь. Разжигание антиисламских и антизападных настроений имеет самые негативные последствия для мира, спокойствия и стабильности. Современные реалии требуют сдержанности от всех, в том числе и от мусульман, и от представителей западной культуры.

И исламскому миру, и Западу необходимо работать над улучшением своего «имиджа», изрядно подпорченного за последние десятилетия. Изменения в ближневосточной политике США в плане сокращения военного вмешательства в дела региона, по мнению экспертов, могли бы дать толчок улучшению имиджа Америки в исламском мире [7, 8]. Ученые вновь и вновь напоминают, что ислам является религией интеграции, а не обособления и изоляции; уважение других культур и верований, традиций и выбора есть неотъемлемая часть ислама. При этом углубленное знакомство с исламом необходимо не только западным сообществам, но и в не меньшей мере самим мусульманам. Обращение к богатому культурному наследию мусульманской цивилизации и его широкая популяризация, кроме того, позволят приверженцам ислама избавиться от искусственно прививаемых им представителями иных культур (прежде всего западной) комплекса неполноценности, почувствовать себя в современном мире не подозрительными «чужими», а равными партнерами тех, кто сегодня выступает в авангарде процессов глобализации [1, 9–10]. Корректная, непредвзятая пропаганда научных знаний об исламе — необходимый шаг на пути к установлению этноконфессионального согласия.

Иными словами, речь идет о новой трансформации сознания современного человека как на Западе, так и на мусульманском Востоке. Диалог на равных может привести к вычленению общих для всех культур нравственных ценностей, на которые можно опереться при определении форм их объединения и взаимодействия для коллективного ответа на новые глобальные угрозы выживанию человечества в целом.

- 
1. Беккин Р. И. Предисловие // Сюкияйнен Л. Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной исламской правовой мысли. М., 2012. С. 7–10.
  2. Лучицкая С. И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001.
  3. Лэйн Э. У. Арабский мир в эпоху «Тысячи и одной ночи». М., 2009.
  4. Лэйн Э. У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX века. М., 1982.
  5. Малашенко А. В. Исламская альтернатива и исламистский проект. М., 2006.
  6. Мелагру-Хитченс А. Политико-идеологические истоки терактов в Норвегии // Пути к миру и безопасности. Вып. 1 (42). М., 2012. С. 96–99.
  7. Мирский Г. И. Ислам, исламизм и современность // Исламский фактор в истории и современности. М., 2011. С. 41–46.
  8. Наумкин В. В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов // Восток. 2006. № 1.

9. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение этносоциокультурных противоречий / под ред. Е. Ш. Гонтмахера. М., 2013.

10. Паун Э. А. Способна ли демократия противостоять ксенофобии? Сравнение опыта США и России // Россия в глобальной политике. 2012. № 6.

11. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.

12. Muslim-Western Tensions Persist. Report. Pew Research Global Attitudes Project, July 21, 2011 [Electronic resource]. URL: <http://www.pewglobal.org/2011/07/21/chapter-2-how-muslims-and-westerners-view-each-other/> (дата обращения: 07.10.2013).

13. Roy O. A Clash of Cultures or a Debate on Europe's Values? // International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Leiden University. ISIM Rev. Spring 2005. № 15.

14. The World's Muslim: Religion, Politics and Society. Report. Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, Apr. 30, 2013 [Electronic resource]. URL: <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/> (дата обращения: 07.10.2013).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 327.2-027.45(470) + 327.2-027.45(58) + 323.28

**В. Д. Камынин**

## **ПОВОРОТ В ПОЛИТИКЕ РОССИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв.**

В статье методом сопоставления мнений ведущих экспертов выясняются причины, вызвавшие изменения в политике России в области обеспечения безопасности в Центральной Азии. Доказывается, что на этот процесс повлияли как внутренние, так и международные факторы. Итогом стало возрастание роли России в регионе. На первый план в политике России в регионе вышла борьба с международным терроризмом.

**Ключевые слова:** Россия, Центральная Азия, региональная безопасность, международный терроризм, дискурс.

Более двух десятилетий после распада Советского Союза в Центральной Азии идет процесс формирования новой международно-политической подсистемы. В этой подсистеме складывается сложная мозаичная система региональной безопасности. В ее развитии можно выделить несколько этапов.

Большинство членов экспертного сообщества сходятся в том, что в первой половине 1990-х гг., несмотря на недооценку центральноазиатского направления, Россия выступила в этом регионе в качестве стабилизирующего фактора. Была решена судьба военной инфраструктуры Вооруженных сил СССР, оказавшейся вне территории России. Российские войска помогали защищать внешние границы государств и оказывали сдерживающее влияние на деятельность вооруженных группировок, которые стали возникать в ряде регионов. Военная помощь России сыграла решающую роль в нормализации ситуации

в Таджикистане. Велика роль России в формировании национальных вооруженных сил, подготовке их кадрового состава, боевого и материально-технического оснащения. Вместе с тем в первой половине 1990-х гг. в Центральной Азии сложился клубок противоречий, который угрожал безопасности в регионе. Не были ликвидированы региональные конфликты — гражданские войны в Таджикистане и Афганистане, а также антиправительственные движения в Ферганской долине. Россия стояла перед необходимостью непосредственного участия в урегулировании конфликтов.

Во второй половине 1990-х гг. произошла определенная стабилизация региональной подсистемы в Центральной Азии. Это время характеризовалось постепенным выходом международных отношений в Центральной Азии из кризиса трансформации, связанного с превращением бывших союзных республик в полноценные независимые государства. Самый крупный очаг региональной нестабильности — война в Таджикистане — был ликвидирован. В эти годы в регионе продолжала действовать «многослойная» структура сотрудничества в области обеспечения безопасности. Шло сотрудничество по линии СНГ, которое оставалось главной обрамляющей политической рамкой и главной платформой многостороннего диалога по проблемам отношений между государствами — членами СНГ. Регулярные саммиты СНГ позволяли снимать взаимные сомнения, претензии и раздражения между странами или их руководителями, координировать подходы по различным вопросам. Главным для России уровнем сотрудничества в области обеспечения безопасности было двустороннее сотрудничество. В подписанные ранее договоры в 1997–2000 гг. были внесены существенные коррективы [1].

Экспертное сообщество расходится во мнениях по поводу факторов, обусловивших поворот в политике России в области обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе на рубеже XX–XXI вв., которые привели в 2000-е гг. к усилению роли России в Центральной Азии, реформированию Договора о коллективной безопасности (ДКБ), разведению функций СНГ и ДКБ в сфере обеспечения безопасности, укреплению двусторонних связей России с государствами региона.

Ряд экспертов указывают на обострение внутренней ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Так, А. А. Князев обращает внимание на активизацию боевиков Исламского движения Узбекистана, базировавшихся в Каратегинской долине Таджикистана, которые дважды, в 1999 и 2000 гг., вторгались на территорию Киргизии в районе г. Баткен и в Сурхандарьинскую область Узбекистана, и необходимость найти адекватный коллективный ответ на новые вызовы и угрозы [2, 66–67]. Последствия «баткенских событий» для политики России были самыми разнообразными. Во-первых, был повышен уровень двусторонних отношений. Чтобы избежать повторения «баткенских событий», 27 июля 2000 г. президент Кыргызской Республики Аскар Акаев и президент РФ Владимир Путин подписали Декларацию о вечной дружбе, союзнничестве и партнерстве, провозгласив тем самым свою неизменную приверженность отношениям союзнничества и стратегического партнерства. Россия и Кыргызстан заявили, что будут развивать эти отношения на основе

широкомасштабного сотрудничества, взаимного доверия, оказывая друг другу разностороннюю поддержку в вопросах предотвращения угрозы независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности [10]. Во-вторых, эти события подтолкнули Россию и страны Центральной Азии к заключению многосторонних соглашений, в частности к созданию Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) для Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Таким образом, следует признать, что борьба против международного терроризма стала одним из приоритетов сотрудничества государств ДКБ еще до терактов в США 11 сентября 2001 г., которые вывели международный терроризм в первый ряд угроз безопасности.

Эксперты заговорили о неэффективности системы коллективной безопасности в регионе, которая строилась на основе ДКБ. В мае 1999 г. истекал пятилетний срок Ташкентского договора, вступившего в силу в 1994 г.; Грузия, Узбекистан и Азербайджан отказались продлевать свое участие в нем, сославшись на то, что в течение первого пятилетнего срока Договор находился в виртуальном состоянии. Тем не менее оставшиеся в рамках Договора Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия решили пролонгировать его действие, наполнив новым содержанием. 2 апреля 1999 г. этими странами был подписан Протокол о продлении Договора и переводе его на новый уровень.

А. Д. Богатуров указывает на важность того, что 2 апреля 1999 г. Узбекистан покинул Договор и буквально через несколько недель присоединился к форуму ГУАМ. По его словам, «в Ташкенте решили, по-видимому, что, опираясь на собственный потенциал, сотрудничество в рамках четырехстороннего Договора о вечной дружбе и ЦАЭС, а также при помощи партнерства с США Узбекистан сможет обеспечивать свою безопасность, не принимая обязательств перед Россией» [6, 322]. М. А. Хрусталева считает, что главной причиной реформирования ДКБ стало осознание членами этого договора, в том числе и Россией, своих интересов в области обеспечения безопасности, а действия Узбекистана способствовали ускорению реформы [Там же, 308]. Ю. А. Никитина по этому поводу высказывает мнение, что, хотя существование в чем-то альтернативного СНГ и ДКБ форума ГУУАМ потенциально могло осложнить геополитическую обстановку на постсоветском пространстве, «на деле получилось, что из ДКБ вышли три наименее заинтересованные в военнополитическом сотрудничестве (включая Грузию и Азербайджан) в данном формате страны, что позволило активизировать (а позднее и институционализировать путем создания Организации ДКБ) взаимодействие между оставшимися государствами-членами» [7, 22].

Другие эксперты предлагают гораздо больше внимания уделять анализу влияния внешнего фактора. Так, К. Н. Кулматов и А. В. Митрофанова пишут, что уже к концу 1990-х гг. ситуация в Центральной Азии изменилась в сторону так называемого «геополитического плюрализма». Имеется в виду то, что в регион пришли внешние акторы (США, Китай, ЕС, Турция, Индия, Иран). По мнению данных авторов, перед государствами региона в это время был выбор: либо войти в региональный блок с участием России, либо создать

собственные интегрированные субрегиональные организации, либо возложить экономические и политические надежды на третьи страны [4, 197]. Ю. А. Никитина указывает на изменение взаимоотношений стран ДКБ с НАТО. В 1999 г. началась операция НАТО в Югославии. Это стало дополнительным стимулом для координации действий государств Центральной Азии в сфере обеспечения безопасности. Дело в том, что появление сил Альянса в Югославии создало препятствие на пути транспортировки афганских наркотиков по так называемому «балканскому пути», что заставило наркоторговцев в большей степени ориентироваться на «северный путь», проходящий через страны Центральной Азии. Кроме того, в 1999 г. урожай опийного мака почти в два раза превысил показатели предыдущего года. Эти факторы среди прочего привели к активизации боевиков на границе с Центральной Азией и попытке их прорыва на территорию Ферганской долины, что обеспечило бы им лучшие возможности для наркотрафика [7, 22–23].

Не нужно забывать о том, что именно в начале 2000-х обострилась афганская проблема. Афганистан — основной источник внешней нестабильности в Центральной Азии. Ю. А. Никитина пишет, что хотя официально среди причин преобразования ДКБ в организацию называется желание повысить эффективность взаимодействия, однако стоит отметить, что решение о создании ОДКБ в 2002 г. совпало с проведением антитеррористической операции в Афганистане и появлением военных баз коалиции (а фактически США) в странах Центральной Азии [Там же, 24–25]. Это подтверждает и М. А. Хрусталева, который указывает на то, что «начало войны США в Афганистане послужило толчком к реорганизации военно-политических отношений в СНГ» [6, 308].

Среди факторов, обусловивших активизацию политики России в области обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, большинство экспертов называют изменения в политическом руководстве страны. Именно с приходом к власти В. В. Путина связывается поворот России лицом к этому региону. По словам С. Г. Лузянина, «на формирование восточной стратегии России в ближнем и дальнем восточном зарубежье первоочередное влияние оказывали текущие и сугубо прагматические задачи и мотивы — необходимость борьбы против терроризма, экстремизма, вопросы выживания России» [5, 14].

Следует констатировать, что весь этот комплекс причин подтолкнул Россию и страны Центральной Азии к усилению взаимодействия и реорганизации существующих в регионе структур безопасности.

На рубеже XX–XXI вв. именно Центральная Азия стала регионом, в котором терроризм стал большой проблемой для международной безопасности в целом и для безопасности России в том числе. В 1990-е гг. борьба с международным терроризмом занимала одно из последних мест в списке угроз безопасности стран ДКБ. Региональная безопасность на центральноазиатском направлении длительное время обеспечивалась на основе двухсторонних отношений между Россией и Казахстаном, Россией и Таджикистаном, Россией и Киргизией.

В сделанном на бишкекской сессии Совета по коллективной безопасности стран ДКБ в 2002 г. Заявлении глав государств [8, 157–158] была выражена



озабоченность усиливающимися проявлениями международного терроризма и экстремизма в этом регионе, основным источником которых назывался непрекращающийся конфликт в Афганистане. В Заявлении содержался призыв к международному сообществу вплотную заняться решением афганской проблемы, которая представляет угрозу не только странам региона, но и международной безопасности. На бишкекской сессии СКБ генеральному секретарю было поручено установить рабочие контакты с антитеррористическими структурами ООН, ОБСЕ и «Шанхайской пятерки». Также было принято решение разработать к следующей сессии документы для создания Коллективных сил быстрого развертывания для Центральной Азии.

Важное значение для России в начале коллективной борьбы с международным терроризмом имел саммит Совета коллективной безопасности ДКБ в Минске, который проходил 24 мая 2000 г. В ходе этого саммита главы государств — участников ДКБ был подписан Меморандум о повышении эффективности ДКБ от 15 мая 1992 г. и его адаптации к современной геополитической ситуации. В связи с повышением внимания к совместному противодействию новым вызовам и угрозам на сессии СКБ в Минске был создан новый консультативный орган — Комитет секретарей Советов безопасности государств ДКБ. В Меморандуме предусматривалось усиление координации мер государств-участников по совместному противодействию новым вызовам и угрозам национальной, региональной и международной безопасности с акцентом на решительную борьбу против международного терроризма. В Меморандуме говорилось, что страны-члены, выступая за более полное использование возможностей Договора в интересах предотвращения и урегулирования конфликтов на их территории, наряду с использованием предусмотренных механизмов консультаций рассмотрят вопрос о создании при СКБ также консультативного механизма по проблемам миротворческой деятельности и приступят, в соответствии с национальным законодательством, к работе по формированию коллективных миротворческих сил быстрого развертывания [3, 104].

Оценивая значение минской сессии СКБ, эксперты полагают, что с нее можно вести начало периода разграничения функций ДКБ и СНГ: впервые сессия СКБ была проведена не как «приложение» к заседаниям в формате СНГ, но как полноценное мероприятие. На данной сессии проблемы активно обсуждались, принимались конкретные решения, а не подписывались документы, что часто происходило на этапе развития сотрудничества в рамках ДКБ в 1990-е гг. [9]. Ю. В. Косов и А. В. Торопыгин пишут: «Упоминание в тексте Меморандума “миротворчества”, на наш взгляд, может иметь существенные последствия. Дело в том, что довольно часто ДКБ рассматривается в качестве самостоятельной региональной организации в смысле гл. 8 Устава ООН, так же как и Содружество Независимых Государств является региональной организацией в этом же смысле. В ДКБ создана собственная организационная структура, он с самого начала был выведен за рамки СНГ. Невозможность проведения миротворческих операций в рамках ДКБ, минуя СНГ, создавала определенную иерархию этих структур» [3, 104].

По данным Ю. А. Никитиной, на 1 августа 2001 г. были сформированы КСБР численностью до 1500 человек (по одному батальону от Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) со штатным вооружением и боевой техникой, назначен командующий КСБР и сформирован оперативный штаб в Бишкеке [7, 29–30].

Расширялись меры по борьбе с международным терроризмом и в рамках СНГ. В конце 2000 г. по решению Совета глав государств СНГ был создан Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ, являющийся постоянно действующим органом координации деятельности спецслужб по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Этот центр имеет структурное подразделение по Центральной Азии в Бишкеке. Деятельность АТЦ по обмену информацией и созданию единых банков данных сочетается с практическими мерами. Были проведены учения «Юг-Антитеррор-2001» в Киргизии.

Таким образом, результатом разнообразных событий, которые произошли в Центрально-Азиатском регионе на рубеже XX–XXI вв., стало существенное изменение политики России в сфере обеспечения безопасности в Центральной Азии. Впервые Россия в начале XXI в. взяла на себя полноценную ответственность за борьбу с международным терроризмом в регионе. Угроза международного терроризма стала основной причиной для преобразования ДКБ в полноценную Организацию ДКБ.

---

1. Камынин В. Д. Политика России в области обеспечения безопасности в Центральной Азии в 1990-е гг. // Изв. Урал. федер. ун-та. 2013. № 1 (112). Сер. 3 : Общественные науки. С. 146–159.

2. Князев А. А. Афганский конфликт и радикальный ислам в Центральной Азии : сб. док. и материалов. Бишкек, 2001.

3. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств: Институты, интеграционные процессы, конфликты. М., 2009.

4. Кулматов К. Н., Митрофанова А. В. Региональные аспекты международных отношений. М., 2010.

5. Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004–2008). М., 2007.

6. Международные отношения в Центральной Азии: события и документы / под ред. А. Д. Богатурова. М., 2011.

7. Никитина Ю. А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М., 2009.

8. Николаенко В. Д. Коллективная безопасность России и ее союзников. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве. М., 2003.

9. Николаенко В. Д. В соответствии с духом времени. У Договора о коллективной безопасности хорошее будущее // Независимая газета. 2000. 21 июня.

10. Саид Амин. Анализ баткенских событий 1999–2000 гг. // Время Востока. 2013. 14 мая.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 316.323.6 + 327.2 + 339.9.012

И. В. Красавин

**ПЛУТОКРАТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕГЕМОНИИ**

Статья посвящена политико-экономическому и макросоциологическому анализу современной плутократии и проблеме трансформации капиталистической гегемонии. Показана динамика глобальной финансиализации международных политических и экономических отношений. Приведены исторические сравнения и сходства в формировании систем капиталистической гегемонии. Сравняется состояние претендентов на роль глобального гегемона в XXI в. — ЕС и КНР, указаны их сильные и слабые стороны. В заключение указываются возможности развития плутократического режима в России.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** плутократия, гегемония, капитализм, финансы, частные лица, государство, институты, развитие, рост, зависимость.

## I

В истории бывают времена, когда публичное лицемерие перестает скрывать внутренности общественного устройства и проводимой политики. Эти времена переполнены политической нестабильностью, вызывающей роскошь, дебатами растущего гражданского общества и переделами мира. В такие годы власть капиталистического элемента над политико-экономической системой общества становится очевидной. Либеральные и социал-демократические режимы обнаруживают себя плутократиями, а их политические отличия становятся несущественными. Эта ситуация не возникает внезапно из ниоткуда, но создается самим ходом предшествующего роста и развития общества, знаменуя собой, по выражению Ф. Броделя, «признак надвигающейся осени» капитализма. Плоды «осеннего капитализма» заключаются в доступном и обильном частном финансовом капитале, который за небольшой процент идет в потребление людьми и государствами. Поэтому интересы финансовых организаций, отвечающих за управление этими капиталами, становятся очень дороги государствам, ради них перестраивающих институциональную структуру и меняющих политический порядок. Другой стороной ситуации являются растущее неравенство, размывание среднего класса и замыкание элит, дестабилизация привычных отношений во внутренней и внешней политике. Система экономических и политических отношений государств и сообществ приходит к пределам роста, накладываемым самой конечной формой институционального устройства, и сокрушается вихрем глобальной турбулентности.

Современный глобальный финансовый кризис — как раз по этой части. Он знаменует собой не только передел мира, инициированный плутократией США, но и постепенное разрушение глобальной системы американской гегемонии в противостоянии с Китаем. Ситуация совсем не нова. Сто лет назад Британия для спасения своей гегемонии вовсю готовилась к войне с Германией. Двести и триста лет назад Франция и Британия дрались за контроль над

глобальным рынком и колониями, четыреста лет назад Нидерланды и Северная Европа отвоевывали себе место под солнцем у Испании и Италии. Периоды смены гегемонии образуют схожие циклы. В какой-то период власть плутократии неотличима от власти государства: относительно стабильная внешняя политика, растет реальная торгово-производственная экономика. В другой — частные финансы получают исключительное влияние на государство, но совсем не отождествляют себя с ним и его интересами во внутренней политике: финансиализации экономики соответствует расточительный империализм. Управление экономикой достигается за счет манипулирования институциональной структурой сообществ, а управление политикой следует экономической конъюнктуре, чтобы обеспечить крупные частные прибыли даже и в ущерб остальной части общества.

В ходе исторических изменений Нового и Новейшего времени власть перешла от монархов к плутократии, контролирующей кредитную и покупательную способность глобального мира. Эта власть является следствием нахождения в центре концентрации самых крупных капиталов и политически самых влиятельных организаций и государств. Гегемония капитализма зиждется на контроле экономического и политического порядка, который поддерживается усилиями конкретных государств, их элит, деловых и политических организаций. Такой центр не господствует напрямую, а косвенно манипулирует экономическими и политическими отношениями частных организаций и государств. Политика капиталистического гегемона заключается в контроле наиболее крупных доходов мировой экономики, с помощью которых оплачиваются социальное развитие, экономический рост и политическое могущество. Он всегда в избытке владеет средствами экономической и политической экспансии — деньгами, техникой, компаниями, опытом, доверием, союзниками и способен повлиять практически на любую страну, большая часть которых стремится заручиться его поддержкой и деньгами. И наоборот, возможности других стран и региональных капиталистических центров значительно меньше, а конкуренция между собой отвлекает их от конкуренции с глобальным гегемоном. Прямая же конкуренция с ним невозможна и всегда приводила к поражению из-за огромной разницы в доходах претендентов и гегемона.

Деловые организации получают от этого союза прибыль, а государственные — влияние. Политические решения центра обуславливают легитимные практики управления и их направленность, а деловые решения озадачены непосредственной экономической организацией. Этот союз ограничен институциональными решениями гегемона. Рано или поздно вследствие конкуренции деловые предприятия сталкиваются с падением прибылей и невозможностью дальнейшего расширения. Это ставит под угрозу обоих участников альянса, так как они в прямом смысле теряют источник существования. Решением дилеммы является отведение поступающих доходов не в расширение производства, а для торговли деньгами по всему миру и относительный рост сектора услуг. Но институциональные пределы достигаются и здесь; капитал перестает приносить прибыль, и вся мировая система, завязанная на общий центр, трансформируется [1, 68–71].

Такая форма организации социальных отношений и вообще важность прибыли для поддержания власти гегемона сложилась благодаря двойственной организации управления капиталистическим обществом, исходя из интересов обладателей власти и капитала — как крупных институциональных организаций (государств, деловых предприятий), так и групп частных лиц (элит, бюрократии и буржуазии). Сначала в Нидерландах в XVI, затем в Британии в XVII и после на континенте в XIX в. элиты оказывались в патовой ситуации, когда различные группировки не могли поставить государственные институты под полный контроль. Достижение консенсуса между ними в вопросах управления ограничивали монополизм отдельных групп и расширяли социальное пространство, увеличивая вариативность его возможностей. За счет этого к плодам расширенного участия в политике и экономике допускались не только элиты, но и остальная часть сообщества, средний и нижний «классы». То же происходило и с зависимыми странами, которые так или иначе включались в производство и потребление благ капитала. Рост доходов позволил им претендовать на расширение прав, и постепенно выстраивалась конструкция политической демократии все большей степени массовости.

Элиты неизменно препятствовали этому процессу, но в моменты кризисов были вынуждены подчиняться, так как расширенный общественный договор сохранял их власть и давал новые возможности для роста. Сообщества, наиболее успешные в достижении социального компромисса, получали устойчивый рост доходов и политической власти. По сути, двойная структура власти и капитала является основой политической демократии, недаром все стабильные демократические сообщества являются парламентскими плутократиями. Поэтому современный капитализм заинтересован в демократии, которая является средством ограничения власти при помощи ее регулярной общественной легитимации. Иначе говоря, капиталу демократия необходима не для того, чтобы давать власть «народу», а для того, чтобы с помощью «народа» охранять капитал от своеволия власти.

Когда деловые организации гегемона сталкиваются с падением прибылей и невозможностью дальнейшего роста, они лоббируют изменение политики своего сообщества. Продают предприятия иностранным союзникам и создают новые в дешевых экономиках зависимых сообществ; стимулируют инновации, но в новых индустриях занята ничтожно малая доля населения. Производственные и торговые цепочки бизнес-процессов теперь ведут не внутрь, а вовне гегемона. Внутри же ведут каналы поступления прибыли, дивидендов, роялти и т. д., получаемых узкой группой деловых организаций, что позволяет государству жить в долг и на эти деньги помогать приближенным лицам и организациям сеять семена власти и жать урожай прибылей. Обеспечением таких поступлений и занимается государство гегемона. Появляется сервисная экономика, задача которой заключается в распределении поступаемых со всего мира прибылей, которые гегемон тратит на широкое потребление вещей и услуг — именно тогда финансы призывают всех «быть гибче». Потребление на душу населения растет, но имеющаяся инфраструктура отношений не производит необходимого объема доходов и заимствует их извне. Всевластие

плутократии пожирает средний класс, делая сообщество неустойчивым и уязвимым.

Во внешней политике США, а ранее Британия управляли глобальными политико-экономическими процессами в пользу максимизации своих доходов и одновременно старались ограничить другие страны в накоплении капитала и изменении своей институциональной структуры. Гегемон культивирует такую международную политико-экономическую систему, в которой зависимые сообщества и колонии играют роль статистов и поставщиков отдельных видов ресурсов (для последних эта система оборачивается зависимостью от конъюнктуры рынка и хроническим дефицитом бюджета). Став звеньями в замкнутой цепи, периферийные сообщества функционируют только при постоянной подкачке капиталов извне. Их собственных накоплений не хватает для внутреннего развития, в связи с чем внутренняя структура таких сообществ отличается крайним неравенством, доминированием олигархии и пресмыканием немногочисленного среднего класса. Как правило, зависимые страны всегда в долгу, часто неоплатном, перед капиталистическим центром, но для метрополии безнадежный долг означает новые заимствования, которые гарантируют, что заемщик будет платить всегда, поставлять свои ресурсы по нужным ценам и вообще вести себя тихо.

Экономической самостоятельности и политической независимости добиваются те сообщества, кто нужен гегемону для снижения издержек и укрепления позиций. Таким необходимым соседом для Британии стала континентальная Западная Европа в XIX в., а для США — Восточная Азия в XXI. Поскольку мир конечен, кто-то из самых эффективных последователей оказывается в ситуации политической конкуренции с гегемоном, становясь для него источником угрозы. Достижение институциональных пределов роста сталкивает конкурентов: в начале XX в. Британия и Германия совместно разрушили старый мировой порядок, в начале XXI в. США бросают вызов Китаю еще до того, как тот станет по-настоящему сильным. Противники гегемона погибают вместе с ним, а наследство переходит тем, кто был наиболее близок, безопасен и управляем. В XX в. таким наследником стали США, а в XXI им, похоже, станет Европа.

## II

Становление современного глобального режима финансовой плутократии произошло в 1970-х гг., когда мировую экономику, и в частности США, скрутил кризис, очень напоминающий современный. К концу 1960-х гг. американские корпорации столкнулись с нарастающим падением прибылей вследствие конкуренции со стороны европейских и японских компаний, одновременно США более не могли обеспечивать золотом доллар. Антикризисные меры администрации Р. Никсона накачали американскую экономику легкими деньгами, отменили золотовалютный стандарт и либерализовали международные финансы. Предложение дешевых денег ненадолго подняло многие периферийные страны, но одновременно в Лондоне рос рынок евродолларовых активов, состоящий из американских и британских банков. Рассеивание западного ка-

питала повышало покупательную способность второго и третьего «миров», а с нею и политические претензии бедных стран. Проблемы нестабильности прибылей и размывания глобальной власти были решены вследствие резких «нефтяных шоков», заставив государства обратиться за помощью к частным и корпоративным финансовым организациям, работавшим на рынке евродолларов. Европа и Япония тоже страдали от дороговизны углеводородов, но темпы инфляции доллара и рост цен на промышленную продукцию опережал рост нефтяных цен. Любопытно, что именно этот период отмечен перемирием в виде разрядки с СССР, который, живя в параллельной реальности, решил заработать на загнивании Запада, пока его элиты осуществляли деликатную операцию пересадки международных финансов из государственных тенет в частные руки вненациональных офшорных юрисдикций.

Управление евродолларовой ликвидностью вознесло ведущие американские и английские банки на новые финансовые вершины, но грозило обрушить политическую власть США. Все вышеперечисленные колебания происходили внутри долларовой экономики, так что воздействовать на ее участников можно было монетарным путем. Резкое снижение предложения денег ФРС схлопнуло пузырь евродолларовой ликвидности, и потоки капитала развернулись с Юга на Север. Задачи реформ М. Тэтчер и Р. Рейгана заключались в возвращении ликвидности в границы американской юрисдикции и перестройке институциональных отношений сообщества. Исполнение все большей части социально-экономических функций государства было поставлено в зависимость от их финансовой прибыльности в пользу частных «инвесторов». Таким образом решалась проблема инвестиций частных избыточных капиталов, а государства (прежде всего США) для поддержания своей дееспособности оказались перед необходимостью увеличения государственного долга.

Теория монетарного управления свободным рынком, маргинальная в 1950–1960-х гг., теперь стала пользоваться усиленным вниманием среди менеджмента корпораций, университетских экономистов и деловой прессы, взывавшей к интересам инвесторов [10, 11]. Коммуникация сообщества стала оцениваться, изучаться и управляться, исходя исключительно из финансовых целей и методов. Умножая прибыли, новая политика делила общество между бедными и богатыми, делая его все менее устойчивым, хотя последствия такой сегрегации сказались не сразу. Чем больше росли инвестируемые капиталы, тем сильнее они давили на остальные регионы: Европу, Латинскую Америку, Азию, Африку, социальная структура и политика которых становились похожими на американскую.

Эти меры Вашингтона «убили» американскую промышленность: максимизация прибыли, принятая в качестве цели деятельности компаний, привела к распространению японской системы субподряда и аутсорсинга. Множество предприятий закрывалось, а оборудование вывозилось в Мексику, Южную Корею, Тайвань и Сингапур. Крупные корпорации стали заинтересованными не в обычной собственности на производство и товары — то была проблема иностранных аутсорсеров, а в интеллектуальной собственности на права, патенты, бренды и прочие формы роялти, которые приносили основные

прибыли [3]. Из развивающихся стран извлекался дешевый труд, а из развитых — высокая стоимость и объемы продаж. С переносом местных предприятий и снижением налогов растет активность европейцев и японцев, суммарные инвестиции которых в США вскоре превзошли американские вложения за рубежом [7, 213–214]. Дерегуляция затрагивает банки, которым позволялось совмещать принятие вкладов населения и проведение рискованных инвестиционных операций. Одновременно интенсифицируются инвестиции в информационные, био- и прочие технологии (прежде разрабатываемые в военных целях в рамках «военного кейнсианства»), которые уже к началу 1990-х гг. помогли начать третью «индустриальную революцию».

Восстановление экономического и политического контроля со стороны гегемона способствовало крушению СССР, который со снижением цен на нефть уже не мог обеспечить потребление своей экономики. Наконец, огромный объем рынка евродолларов и встряска мировой экономики заставили европейские страны ускорить процессы интеграции. Под руководством Ж. Делора в течение 1980-х гг. была подготовлена институциональная основа, придавшая в 1991–1992 гг. Европейскому союзу вид конфедеративного объединения [12, 374–378]. Европейская интеграция стала плодом союза крупных компаний, евродолларовых частных финансов и национальных правительств. Государства страдали от скачков конъюнктуры и опасались стремительных перемещений частных финансовых капиталов, могущих обанкротить любое правительство. Крупные компании нуждались в увеличении рынков и снижении издержек, связанных с разницей в курсах валют, таможенными барьерами и разными правилами регуляции. Наконец, рынок евродолларов давал европейским странам возможности неограниченного финансирования государств и компаний.

Либерализация торговли и учреждение Всемирной торговой организации в 1995 г., безусловно, помогло богатым странам, обладавшим капиталом, технологиями и рынками, но деловые организации других стран, как правило, не могли конкурировать с западными корпорациями [9, 57–65]. Торговля США, Европы и Японии, составляя более 80 % мирового обмена, замкнулась на богатых странах и в стоимостном отношении выглядела самодостаточной; в сравнении с ними торговля остальных сообществ представляла собой статистическую погрешность. Открытие их внутренних рынков для восстановления после кризисных ситуаций было призвано принести малым экономикам расцвет на волне свободной конкуренции. На периферии это привело к повсеместному росту цен, объемов спекуляций с активами и неравенству, тогда как американское сообщество, деловым организациям которого поступало большинство мировых капиталов, смогло перейти на ренту. Режим ВТО способствовал развитию экспортных отраслей, и часть сообществ в Восточной Азии, Бразилии этим воспользовалась, создавая крупные экспортные компании и развивая внутренние рынки. Но в большинстве остальных странах Азии, Африки и Америки и без того чахлые хозяйства только деградировали, и в 1990-х гг. вместо плохой промышленности они остались вообще без таковой [8, 202–215].

Расцвет США в 1994–2006 гг. был основан на концентрации значительных финансовых средств и создании сервисной экономики. Ее узость, однако, поста-



вила крупнейшие финансовые организации перед необходимостью постоянного поиска выгодных объектов для инвестирования вследствие перманентного перенакопления капитала. Дешевизна финансов вскормила восторг вокруг IT и вообще новых технологий, которые оказались отнюдь не повсеместно прибыльными и были впоследствии даже названы «изрядным вздором». После «краха доткомов» ФРС для поддержки банковской системы снизила стоимость денег до минимума, и с 2001 г. основными объектами инвестиций американских банков стали нефтяные фьючерсы и операции с недвижимостью. А чтобы граждане поскорее начали больше тратить и занимать в долг, налоги на богатых при Д. Буше-младшем были в очередной раз снижены [4, 223, 226–241]. Капитал стал так дешев, что недвижимостью многие американцы обзаводились фактически бесплатно, многие жили в долг, а потребление росло, несмотря на разрыв в доходах между богатыми и бедными. К 2007 г. 1 % самых богатых обладали 35 % национального богатства, тогда как на 80 % бедных приходилось всего 15 % национального богатства, и разрыв между ними увеличивался (распределение доходов еще более неравно: 1 % самых богатых обладали 42 % финансовых доходов, тогда как бедные, 80 %, обладали всего 7 % доходов) [14]. Помимо того что такое распределение неэтично, оно еще и свидетельствует о достижении пределов экономического роста и полной монополизации сообщества его элитами.

Современный капитализм обладает широчайшими производительными возможностями, но не использует их, предпочитая не производить, а потреблять. Рост, как в центре, так и на периферии в 2000-х гг. был обусловлен перенакоплением капитала глобальными капиталистическими организациями, которые не смогли трансформировать глобальные институциональные отношения в сторону безопасного и устойчивого экономического роста и социального развития. Доходы периферийных стран, по сути, оказались переменной финансовых операций крупнейших банков и страховых компаний, чьи вложения во фьючерсы и другие инструменты вызвали рост цен на сырье и продовольствие. В странах периферии этот рост был медленным и небольшим [2] и не столько принес устойчивость и достаток, сколько поддержал прибыли местных монополистов, приватизировавших транспорт, государственные услуги и монокультурное производство, а оживление национальных рынков было вызвано относительно небольшими капиталами.

Совокупный долг бедных и развивающихся стран богатым сообществам к 2006 г. составил 3,2 трлн долларов, ежегодно создавая около 550 млрд затрат на его обслуживание [6, 337]. К 2010 г. объем долга 139 бедных и развивающихся стран дошел до 4,1 трлн долларов, тогда как сумма их валютных резервов (обычно номинированных в долларах США), накоплений частных лиц и корпораций, помещенных через офшоры в финансовые системы богатых стран, выросла с 14,2 до 17,2 трлн долларов, т. е. как минимум равна ВВП США или ЕС [23]. При этом и государственные, и частные активы, как правило, номинированы в валютах богатых стран и управляются их банками, которым легальность происхождения денег безразлична.

Формально это богатые страны кредитуют бедные и списывают их долги, но в реальности, наоборот, самые бедные субсидируют самых богатых, которым

в то же время недостает крупных и безопасных для инвестирования рынков. Слишком медленное развитие периферии и неустойчивость внутренних и международных отношений вследствие институциональной неразвитости бедных сообществ сузили общее социальное пространство и затруднили поддержание неравного обмена, который является сутью капитала. Кредитная и покупательная способности американской системы организации мирового капитализма более не могут расти и не имеют приемлемых вариантов к изменению, поскольку их результатом будет потеря власти. Институциональной конфигурацией, способной поддерживать власть в ситуации общего роста сообществ планеты, США не обладают. Так капиталистические элиты стали заложниками ограниченных способностей институциональной организации своей гегемонии.

Пределная степень монополизации видна на примере того, как в начале XXI в. распределены доходы и контроль среди самых крупных деловых организаций: 90 % корпоративных доходов глобальной экономики через различные формы собственности принадлежит нескольким сотням корпораций. Крупнейшие финансовые организации, в свою очередь, получают 60 % дохода реального сектора, а по суммарной капитализации сам финансовый рынок превосходит все остальные виды производства и услуг в десятки раз. Деловые организации образуют экстерриториальную структуру отношений; в каждом сообществе и регионе их связи центрируются вокруг крупнейших участников, образуя локальные центры, и самый крупный из них находится в юрисдикциях западных сообществ. Он состоит из 49 финансовых компаний, которые взаимно полностью владеют друг другом и контролируют 40 % всех остальных корпораций [24]. Из них пять крупнейших американских банков (JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs) в 2012 г. владели активами на общую сумму 8,2 трлн долларов. Объем их контрактов по деривативам (производным финансовым инструментам, играющим роль страховки) равнялся нереальной для торгово-производственной экономики сумме почти в 275 трлн долларов, а в 2013 г. слегка понизился до 252, 5 трлн долларов [21].

Все вышеперечисленное является триумфом частных лиц, целиком и полностью подчиняющих государственные институты своей выгоде, что видно на примере системы офшоров, созданной для обслуживания персональных финансовых отношений элит и невероятно разросшейся в последние двадцать лет [6, 63–100]. Государства не смогли ни препятствовать, ни изменить ситуацию, в которой владение основными корпоративными и частными активами привязано к офшорным юрисдикциям, большая часть которых находится внутри национальных государств. Что бы ни происходило в мире, финансовые поступления, проходящие через офшоры, как правило, только растут, что видно из неуклонного роста ВВП на душу населения на этих клочках земли<sup>1</sup>. К сожалению, отследить персональную принадлежность этих активов весьма

---

<sup>1</sup> Jersey, Guernsey, Isle of Man, Bermuda, Cayman Islands, Luxembourg, Liechtenstein, соответствующую статистику см.: <http://www.indexmundi.com>

затруднительно, а следовательно, невозможно определить и степень частного и коллективного богатства элит богатых и бедных стран, пределы их влияния на конкретные организации. Более-менее приближенные оценки объема офшорных накоплений к 2012 г. составляют от 21 до 32 трлн долларов [22], являясь, таким образом, самым крупным совокупным частным активом, составляющим примерно до трети ВВП Земли [28].

Отток капитала из развивающихся стран в 2000-х гг. через офшоры сопоставим с государственными накоплениями: при накоплениях КНР в 3,5 трлн долларов нелегальный отток составил от 1,19 до 2,5 трлн; на 500 млрд долларов РФ приходится от 500 до 798 млрд нелегально утекших капиталов; на 320 млрд Южной Кореи — 779 млрд офшорных; на 357 млрд резервов Бразилии — 520 млрд; еще от 500 до 417 млрд приходится на Мексику при 150 млрд государственных накоплений; далее идут Венесуэла, нефтяные монархии Залива, Аргентина и т. д. [18, 23]. Все это позволяет гегемону держать в подчинении зависимые сообщества посредством контроля частных состояний периферийных элит.

Здесь стоит ненадолго отступить и сравнить роли индустрии и личных связей в деле роста и сохранения гегемонии. Когда Нидерланды, бывшие самыми развитыми в Европе XVIII в., переключились на финансирование своих соседей, то сообществом, далее всех пошедшим по дороге модернизации, оказалась Франция. Ее образование, промышленность, оружие, роскошь были одними из лучших, а внутренний рынок самым крупным в Европе, однако новым центром капитализма стала Британия, уступавшая своему сопернику почти по всем пунктам, кроме внутреннего компромисса элит в виде парламентской монархии. Парламентская гарантия выплаты иностранных займов открыла неограниченный доступ к голландским капиталам. Нидерландская олигархия владела большей частью крупнейших английских банков и компаний, а их британские партнеры в Лондоне установили скрытый контроль над парламентом и правительством. Когда на кризисном и революционном рубеже XVIII–XIX вв. финансовые дома Амстердама разорились, Британия прикончила нидерландскую систему гегемонии и заняла ее место.

В XX в. пришло время Британии достичь пределов накопления капитала и власти, и она также сделала выбор в пользу безопасных США, чьим государственным долгом она владела и чья олигархия регулярно выплачивала роялти банкам Сити. Германия демонстрировала значительный промышленный рост, претензии на самостоятельное лидерство и проиграла. Отношения Британии с США, наоборот, с мировыми войнами становились лишь теснее. Если вначале американцы сумели заработать больше всех денег, то с разрушением британской гегемонии во Второй мировой войне они получили еще и политический контроль над миром. Сейчас, когда США видят необратимость своего увядания, их олигархия, частные лица и корпоративные объединения стоят перед выбором пути, по которому можно было бы отступить в случае, если дела американского государства станут совсем плохи. Один путь ведет в Азию, где растет политико-экономическое влияние Китая, открыто претендующего на независимость: риск прямого или опосредованного столкновения двух

гигантов очень велик. Другой путь ведет в лояльную Европу, объединяющую самые богатые сообщества и новые возможности переустройства мира.

Преимущество гегемонии заключается не в простых показателях экономического роста или демонстрациях политической мощи. Приемником становится тот, кто готов заключить консенсус между заинтересованными группами внутри своего сообщества и предложить новый компромисс в международных отношениях. Удар уходящего властителя сокрушителен, так что его непротивление подъему младшего союзника уже само по себе является для последнего сильным подспорьем. Передача капитала и власти шла политически зависимому, но экономически более успешному сообществу, а не тому, кто пытался совместить богатство и прямой вызов гегемону. Близкие деловые связи олигархии делают возможным обмен финансами между верхушкой близких сообществ. Поэтому, когда накопление капитала в рамках старой гегемонии приходит к пределам, капиталисты предпочитают поступить не как «государственные мужи», но как частные лица, переводя свои средства в пределы других институций и юрисдикций.

На первый взгляд, Юго-Восточная Азия и Китай являются превосходными претендентами на контроль капиталистического центра. Экономика региона растет самыми быстрыми темпами, между элитами и средним классом существует компромисс, растет численность городского населения, азиатские компании контролируют все большую долю мирового производства и торговли. Но в действительности Китай является слабым сообществом и слабым государством, что совсем нетрудно увидеть. Его подушевой ВВП по паритету покупательной способности меньше европейского в 7 раз, а американского — в 10 [19, 20], при этом конкуренция на рынке труда в несколько раз выше, что делает политический режим неустойчивым. Бедность потребления сдерживает трату накопленных государством средств, а неравенство провоцирует напряженность, которая очевидна для китайской бюрократии. При этом уже в середине 2000-х гг. промышленность и банки отметились чрезмерным инвестированием и падением прибылей [13, 188–199], а неравенство растет вопреки всем усилиям правительства. Страны ЮВА далеко не всегда горят желанием склоняться под сень власти Пекина, хотя их экономическое взаимодействие процветает. Более выгодной для них является ситуация соперничества США и КНР за предоставление наиболее выгодных условий сотрудничества малым странам, что и проявляется в конкуренции американского и китайского проектов «общего экономического пространства». Даже миграция американских компаний в Юго-Восточную Азию еще не придаст им достаточных экономических сил и политической устойчивости. Кроме того, США открыто признали Китай главным конкурентом и оплотом политического противостояния.

Европейские сообщества, уступая США и Азии в скорости изменений, превосходят их степенью развития политической и экономической интеграции. Несмотря на болезненность перемен, ЕС проводит их, опираясь на консенсус национальных элит. С появлением евро и постепенной реформой управляющих институтов ЕС стал самым крупным региональным участником

глобальной экономики. В отличие от Китая, двойная структура власти и капитала которого еще только складывается, европейские сообщества ею обладают уже давно, и степень их близости к США и американским элитам (частным лицам и организациям) самая высокая среди всех стран мира. Евросоюз является наполовину выстроенным институциональным образованием, чей ВВП чуть больше американского по паритету покупательной способности (и в 2 раза большее население), при этом уровень неравенства здесь ниже американского (американские элиты богаче европейских, но в остальных социальных группах распределение доходов обратное). С появлением евро и постепенной реформой управляющих институтов европейская экономика стала самой крупной в мире. Она больше китайской экономики в 3 раза (тогда как население ЕС, наоборот, меньше китайского в 3 раза) и больше российской в 10 раз (а население ЕС больше российского в 4 раза) [19]. Состоит она из предоставления глобальных финансовых услуг и глобального же производства, в отличие от Китая Европа получает гораздо больше прибылей и является крупнейшим мировым экспортером и импортером товаров и услуг. К 2007 г. ЕС стал крупнейшим импортером<sup>2</sup> (в 2 раза превосходя США и в 5 раз Китай) и экспортером (превосходя США в 5, а Китай в десятки раз) капитала [25]. В 2009 г. на 15 стран Еврозоны приходилось 45 % мирового рынка инвестиций против 17 % Северной Америки [26, 50]. В 2009–2012 гг., несмотря на сильное падение инвестиций в кризис, ЕС продолжил лидировать, по объему инвестиций в 1,2 раза превосходя США и в 1,2 раза — Восточную и Юго-Восточную Азию, вместе взятые [27, 44, 67]. На европейские страны приходится треть международной торговли, что в три раза больше американской доли.

Политическая слабость ЕС связана с незаконченностью его организации, но экономически это самый крупный партнер всех крупных национальных экономик мира. Если США являют собой триумф частной инициативы, то Европа — пример консенсусного устройства. Способность к достижению компромисса и расширение полномочий наднациональной исполнительной власти делает ее лучшим политическим союзником капиталистических организаций. Многие инициативы ЕС, типа экологических, представляют собой не только заботу о здоровье, но и делают европейские сообщества в будущем наиболее пригодными для внедрения сберегающих, «зеленых» и им подобных технологий и получения прибыли на этих новых рынках, создаваемых принудительным (для частного капитала) путем. Проблема ЕС заключается в некредитоспособности периферийной Европы, вызванной неравномерным распределением капиталов и торговли между европейскими странами. Если торговый и платежный балансы Германии и стран Северной Европы положительны, то балансы Южной Европы отрицательны [15–17]. С начала 2000-х гг., т. е. с введением евро и унификацией торговой политики, южные

---

<sup>2</sup> Нужно отметить, что большая часть капитала импортируется в европейские страны и экспортируется из них, так как учитывается импорт/экспорт национальных государств. Таким образом, для ЕС импорт/экспорт капитала носит по большей части внутренний характер.

страны систематически теряли свою производительную, кредитную и покупательную способность, тогда как более богатые страны Западной и Центральной Европы, Бенилюкса и Скандинавии, наоборот, их приобретали. Все это время рост в Восточной и Южной Европе зиждился на инвестициях стран Запада и Севера, банки и корпорации которых выступили главными бенефициарами интеграции, финансируя на периферии спрос, а в центре — предложение. Этот перекокс возмещался государственными займами стран периферии, которые в итоге и сделали их банкротами, когда поток частных прибылей иссяк.

### III

Если бы мировые финансы управлялись при помощи денежного стандарта с фиксированными стоимостными отношениями, в 2007–2009 и 2012–2014 гг. банковская система западных стран, а после и сами государства должны были обанкротиться. Однако, поскольку стоимость денег стала плавающей, взаимопределяясь через множество различных финансовых инструментов и валют, крупнейшие банки и регуляторы установили контроль над предложением денег в виде бесконечно растущих взаимных займов и кредитов. Это подвергло денежную стоимость инфляции (в отличие от дефляции в XIX в.), а крупнейшим капиталистическим организациям позволило практически директивно управлять глобальной ликвидностью и в кризис посредством программ «количественного смягчения» накачать финансовые системы богатых стран примерно 1,5 трлн долларов и на такую же сумму евро и иен в США, ЕС и Японии соответственно, кроме того, Британия эмитировала 500 млрд фунтов стерлингов. Резкий обвал сменился плавным прекращением экономического роста, инфляцией валют и усилил финансовые диспаритеты богатых и развивающихся стран, в связи с чем последние стали приближаться к дефолтам.

Но всех задач капиталистического центра предпринимаемые меры не решили, так как основная развивающаяся страна — Китай — пока справляется с экономическими трудностями и совершенствует свою институциональную структуру, в то время как западные страны вернуться к устойчивому росту не могут. У США в этой ситуации появляется необходимость провоцирования военных конфликтов, расходы на которые можно собрать за счет инфляции и роста нефтяных цен, которые, как и в 1970-е гг., скрутят периферию долговой задолженностью. Другим средством является изменение системы международной торговли в ключевых регионах — Тихоокеанском и Атлантическом (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement и Trans-Atlantic Free Trade Area). За счет этого данные рынки должны быть ограничены для доступа к ним Китая, оставаясь под контролем американских финансовых корпораций. Но хотя США могут сейчас победить кого угодно, вряд ли они воспользуются плодами победы. Войны, инфляция, кризис перенакопления, прогрессирующая бедность большинства американцев и чрезмерный долг рано или поздно сойдутся, чтобы лишить государство способности к управлению сообществом. Американским корпорациям в Азии сразу же станет не хватать по-

литической поддержки Вашингтона, и вряд ли в будущем они смогут защитить свои интеллектуальные права перед азиатскими аутсорсерами. Чрезмерный контроль элит и их чрезмерные накопления отдадут им американское сообщество в частную собственность, ухоженные анклавов которой будут окружены деградирующими территориями.

Объединение Европы, наоборот, завершит ее превращение в центр глобального капитализма, и произойдет это независимо от того, когда США потеряют гегемонию — после Ирана или после Китая. Ради сохранения частных прибылей американской олигархии не останется ничего другого, как согласиться с возросшим влиянием Европейского союза. Как когда-то США, развиваясь, поддерживали и финансировали Британию до ее полного истощения, так и ЕС сейчас помогает США. Но когда «страной происхождения» для европейских корпораций станет ЕС, а не национальная юрисдикция, высокая степень социального консенсуса и величина экономики станут залогом будущего роста. С институциональным объединением и унификацией гражданского управления его контроль мировой кредитной и покупательной способности возрастет, что неизбежно поставит ЕС перед необходимостью притязаний на глобальную власть.

Более того, опыт 1970-х гг. показывает, что чрезмерная инфляция основной мировой валюты чревата отказом от нее со стороны деловых организаций и государств по всему миру, а это уже настоящая катастрофа. В том и заключен единственный шанс Китая избежать войны с США или планомерной изоляции и низведения до положения вассала. Огромные накопления государств Восточной Азии — около 7 трлн долларов (половина валютных резервов мира), из которых 3,5 трлн принадлежат Китаю и 1,2 трлн Японии, — при недостатке ископаемых ресурсов делают последствия американских операций на Ближнем Востоке для них чрезвычайно болезненными, что дает Пекину возможность консолидировать интересы азиатских сообществ. Страх азиатских стран перед военным вмешательством США и их убийственной экономической политикой в недалеком будущем вполне может перевесить страх перед Китаем. Инфляция уничтожает долларовые резервы азиатских стран, и поддержка действий Вашингтона постепенно станет для них нерациональной. Проблема заключается в том, что сам Китай не в состоянии использовать свою валюту в качестве мировой, поскольку его экономика слишком бедна. Что он может сделать, так это предоставить свои капиталы другому участнику, более предсказуемому и менее воинственному, тому, чья экономика в состоянии выдерживать мировой спрос на свою валюту. Единственным таким участником является Европейский союз, стоящий перед проблемой недостатка финансов для решения задачи полноценного объединения.

Однако до того как Европа делает исторический выбор, она готова помогать США в их «гуманитарных операциях» (готовность к проведению которых не скрывают в НАТО), несмотря на отсутствие стратегических выгод от сомнительных войн. Поэтому, когда Брюссель и Берлин будут искать финансирование на спасение европейского проекта, условием получения данных денег станет отказ от поддержки американской политики. И если ЕС пойдет

на это, остальные сообщества сами сделают его гегемоном. Отличие 2010-х гг. от 1970-х состоит в том, что теперь развивающиеся страны, несмотря на многочисленные неудачи, представляют собой гораздо более мощные экономики, урбанизированные сообщества, рынки которых почти непрерывно растут. Инфляция доллара и политические риски уже сейчас заставляют обращаться к расчетам в национальных валютах, но их сдерживает неустойчивость большинства экономик. Являясь самым крупным торговым партнером и финансовым инвестором в мире, ЕС неизбежно начнет доминировать и в денежных расчетах, а американская гегемония — сжиматься.

Что касается России, то СССР пал, а Российская Федерация появилась в международной системе, в основном созданной усилиями американской плутократии и ее союзниками, в качестве страны третьего мира. Современная российская плутократия — часть американской гегемонистской конструкции с доминированием финансов и высокими ценами на нефть. Не начнись повышение цен на углеводороды, эволюция режима в исполнении тех же политических фигур была бы если не демократичней, то по крайней мере конкурентней, хотя низкое давление на рынке труда в России дает любой власти большой запас инертности сообщества. За отечественной плутократией, выросшей на рентных доходах, не стоят средний класс и обширный внутренний рынок, потому и возможности ее ограничены [5]. Российскую Федерацию отличают непритязательность экономических и политических интересов, слабость институциональной структуры, отсюда — бесконечный консерватизм и песнь суверенитету. Несмотря на ренессанс советской культуры, реалии институтов указывают на то, что в административном аппарате сегодня установлен практически свободный рынок и действует множество «невидимых рук». В будущем текущая приватизация авторитарного государства с репрессивной формой власти еще обернется выгодами для среднего класса. Пока же это делает государство и элиты беспомощными перед лицом внешней активности и заставляет их сопротивляться переменам внутри страны. Даже накопленные нефтяные доходы государство не может инвестировать во внутренний рынок. Инвестируя в финансовые инструменты США и их банков, РФ как государство, деловые организации и частные лица по факту финансируют американскую гегемонию, а государственные резервы стали гарантией корпоративных долгов за границей.

Уже скоро по соседству с РФ вырастут гиганты — ЕС и КНР, и если Китай будет сдерживаться США, то ЕС, как только обретет необходимый политический статус, немедленно начнет давить на РФ как экономически, так и политически. Рано или поздно экспансия европейского проекта накроет пространство бывшего СССР и встанет вопрос в том, какого качества будет российская социальная структура, которая ближе к середине XXI в. подвергнется интеграции с ЕС, — олигархическая полуколония или относительное равноправное, конкурентное и богатое общество. Текущее состояние российской политико-экономической системы являет собой классический пример капиталистической трансформации. Накопления элит как частных лиц требуют применения, и самым крупным подходящим объектом присвоения является само государ-



ство: образование, коммунальные услуги, энергетика — все, что может быть приватизировано и благодаря чему население может быть поставлено в зависимость от кредита крупнейших банков. Причем эта приватизация скрытая, заключающаяся в приватизации государственных финансов, а не собственности.

В то же время активность гегемона в Евразии и его готовность вмешиваться в отношения постсоветских стран усиливает паранойю элит по поводу сохранения своей политической независимости. В этих условиях в России в 2013–2020 гг. будет происходить приватизация государственных активов в пользу элит, сопровождающаяся одновременным ужесточением политического режима и ростом протестных выступлений, поводом к которым послужит не приватизация как таковая, а произвол элит, в то время как бедное население покрыто сетью долгов. Пространство возможностей роста и развития в глобальной экономике сужается за счет инфляции мировых валют, что увеличивает издержки внутри российской экономики (дорогой, малопроизводящей и рискованной): элиты выкачивают из государства лишние финансы и выводят их в иностранные банки. Не за горами нарушение консенсуса среди элит, периферийные группы которых подвергаются давлению центральных, отбирающих в свою пользу активы, вследствие чего нарастает перегруппировка интересов и разрушается «вертикаль власти». В результате невидимо парализуется процесс исполнения важнейших политических решений, а государство неминуемо приходит к банкротству.

С трансформацией системы глобальной гегемонии, снижением влияния частных финансов и цен на нефть наступят перемены и в России. Демонопользация российской экономики и политики откроет экономическую экспансию, а с ней и активную внешнюю политику. Эти перемены возможны лишь под давлением растущего городского среднего класса, который будет поддерживаться продолжающимся ростом мирового рынка и который будет функционировать, несмотря на потрясения финансового кризиса. Компромисс групп влияния и социальных страт вызовет заинтересованность в кооперации, а баланс политический власти и ее постоянная общественная легитимация успокоят, наконец, инвесторов, как своих, так и чужих. Естественно, элиты все понимают, но пока среднего класса нет, делиться не с кем. Когда он составит примерно половину городского населения, столкновение и «победа» среднего класса неизбежны (конечно, в действительности исполнять новый общественный договор будет элита). Единственное, что может помешать трансформации российского сообщества, — это воинственная политика США, влияние которой ужесточает политический режим в РФ, но это, как уже было показано, лишь временно.

---

1. *Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006.

2. *Гоклани И. М.* Глобализация благосостояния [Электронный ресурс]. URL: <http://polit.ru/article/2006/01/18/goklany/> (дата обращения: 07.11.2013).

3. *Горц А.* Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний // Логос. 2007. № 4 (61).

4. *Гринспен А.* Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы. М., 2009.
5. *Гурова Т., Ивантер А.* Мы ничего не производим // Эксперт. 2012. 26 нояб. № 47 (829).
6. *Игры экономических убийц* / под ред. С. Хайата. М., 2008.
7. *Иноземцев В. Л.* Расколота цивилизация. М., 1999.
8. *Райнерт Э. С.* Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М., 2011.
9. *Стиглиц Д.* Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию. М., 2007.
10. *Фридман М.* Капитализм и свобода. М., 2006.
11. *Фридман М., Фридман Р.* Свобода выбирать: наша позиция. М., 2007.
12. *Хаттон У.* Мир, в котором мы живем. М., 2004.
13. *China and the Transformation of Global Capitalism* / ed. by Ho-fung Hung. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009.
14. *Domhoff G. W.* Wealth, Income, and Power [Electronic resource]. URL: <http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html> (дата обращения: 07.11.2013).
15. Eurostat. Net international investment position in % of GDP, 2001 – 2012 [Electronic resource]. URL: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tipsii10&language=en> (дата обращения: 07.11.2013).
16. Current account balance in % of GDP, 2001–2012 [Electronic resource]. URL: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsbp10&tableSelection=1> (дата обращения: 07.11.2013).
17. General government gross debt (Maastricht debt) in % of GDP, 2001 – 2012 [Electronic resource]. URL: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsgo10&tableSelection=1> (дата обращения: 07.11.2013).
18. Global Financial Integrity Report 2011. Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009 [Electronic resource]. URL: <http://iffdec2011.gfintegrity.org/> (дата обращения: 07.11.2013).
19. International Monetary Fund // World Economic Outlook Database, October 2010.
20. International Monetary Fund // World Economic Outlook Database, April 2010: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2009.
21. OCC's Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities, Fourth Quarter 2012. Washington, DC; OCC's Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities, Third Quarter 2013. Washington, DC.
22. Tax Justice Network. Estimating the Price of Offshore, report 2012 [Electronic resource]. URL: [http://www.taxjustice.net/cms/front\\_content.php?idcat=148](http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=148) (дата обращения: 07.11.2013).
23. Tax Justice Network report, 2012 [Electronic resource]. URL: <http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Appendix%203%20-%202012%20Price%20of%20Offshore%20pt%20%20-%20pp%2060-104.pdf> (дата обращения: 07.11.2013).
24. *Vital S., Glatfelder J. B., Battiston S.* The network of global corporate control [Electronic resource]. URL: [arXiv:1107.5728v2](https://arxiv.org/abs/1107.5728v2) [q-fin.GN] 19 Sep 2011 (дата обращения: 07.11.2013).
25. UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. Annex, Table B1.
26. UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2009–2011, 2009.
27. UNCTAD, World Investment Report, 2013.
28. World Bank database [Electronic resource]. URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.МКТР.CD/countries/1W?display=graph> (дата обращения: 07.11.2013).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

# КОНФЕРЕНЦИЯ

## «ЕВРОПА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

УДК 327.7 + 341.213:81'373.45

**М. О. Гузикова**  
**А. Г. Нестеров**

### **ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О КОСОВО В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ООН (2008–2010): КОНЦЕПТ ТЕРМИНА «СУВЕРЕНИТЕТ»**

В статье анализируется концепт термина «суверенитет», представленный в ходе обсуждения вопроса о независимости Республики Косово. В качестве основы для анализа взят корпус текстов, представляющих собой выступления различных стран — членов ООН в Международном суде ООН по вопросу соответствия объявления Косово своей независимости международному праву. Методология анализа соответствует схеме, предложенной Л. Г. Бабенко.

**Ключевые слова:** Международный суд ООН, суверенитет, Косово, концептуальный анализ, корпус.

В ходе распада Югославии в сентябре 1991 г. руководители албанских партий области Косово, территории, с начала XX в. входившей в состав Сербии, а в 1919–1991 гг. — Югославии, но населенной в основном представителями албанского этноса, провозгласили независимость края Косово. Этот акт не получил международного признания (за исключением немедленного признания независимости Косово со стороны Албании). Военные действия, которые велись правительством Сербии против сепаратистов в 1996–1999 гг., привели к введению в Косово международных сил ООН (KFOR). В октябре 2005 г. Совет Безопасности ООН высказался за начало переговоров о статусе края Косово. Переговоры начались в 2006 г. в Вене при посредничестве специального представителя Генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари. Правовой основой переговоров оставалась резолюция Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 г., в которой провозглашалась незыблемость суверенитета Югославии. Поэтому важнейшей проблемой на переговорах стало

определение понятия «суверенитет», так как Югославия как государство окончательно прекратила существование в 2006 г.

17 февраля 2008 г. независимость Республики Косово была провозглашена в одностороннем порядке. Власти Сербии в этой ситуации сочли возможным обратиться в Международный суд ООН для рассмотрения вопроса о правомочности провозглашения косовского суверенитета. Слушания по вопросу о независимости Косово начались 1 декабря 2009 г. и продолжались до 22 июля 2010 г., когда Международный суд принял резолюцию о правомочности действий косовского руководства. Ключевым вопросом во время слушаний стало толкование термина «суверенитет», существующего в международном праве со времени Вестфальских мирных договоров 1648 г.

Первая попытка концептуального анализа политического термина «суверенитет» проведена на основе корпуса текстов, представляющих собой как устные, так и письменные заявления — 37 государств в 2008 г. Международному суду ООН по вопросу соответствия объявления Косово своей независимости международному праву. Вопрос в такой форме был инициирован Сербией и поставлен перед Генеральной Ассамблеей ООН. Генеральная Ассамблея дала поручение Международному суду вынести решение по данному вопросу. Суд обратился к государствам — членам ООН с просьбой высказать свое мнение. Заявления по поводу независимости Республики Косово были сделаны 37 странами и размещены на сайте Международного суда [4] в разделе «Консультативные слушания (Advisory proceedings)».

Рассмотрение данного дела в суде шло в течение 2009 г. 13 государств, участников слушаний, — Сербия, Аргентина, Азербайджан, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай, Кипр, Испания, Россия, Румыния, Венесуэла, Вьетнам — высказались против объявления Косово своей независимости в одностороннем порядке, так как это действие нарушило суверенитет Сербии и поставило под вопрос суверенитет как основополагающий конструкт современного международного права и системы отношений между государствами.

Можно констатировать, что вопрос о суверенитете стал камнем преткновения как в самом конфликте между Сербией и Косово (который в конечном итоге привел к объявлению Республикой Косово независимости), так и в обсуждении сложившегося положения странами — членами Ассамблеи ООН: никто из участников не был готов пойти на уступки по фундаментальному вопросу — вопросу о суверенитете Косово. Представляется, что имеющийся языковой материал является достаточной базой для проведения репрезентативного концептуального анализа концепта термина «суверенитет» как одного из наиболее противоречивых концептов современного международного права, а также политической теории и практики.

Тексты корпуса относятся к официальному стилю, жанру юридических документов и содержат аргументы того или иного государства по поводу правомочности объявления Косово своей независимости. Тексты отличаются размером. Так, тексты Сербии (109 505 слов), США (52 116 слов), Великобритании (44 948 слов) — среди самых длинных, текст Ливии (354 слова) — самый короткий. Общий объем корпуса письменных заявлений стран — 637 385 слов.

Четырнадцать государств кроме письменных заявлений представили также свои письменные комментарии к заявлениям других стран. В корпусе слово «суверенитет» встречается 914 раз, слово «суверенный» — 442, а также несколько раз упоминается слово «суверен». Из рассмотрения были исключены ссылки, но оставлена прямая речь в кавычках. Все заявления были представлены на английском языке или с переводом на английский язык. Таким образом, официальным языком рассмотрения запроса и текстов анализируемого корпуса является английский.

Моделирование структуры концепта «суверенитет», а именно семантический вывод компонентов концепта из совокупности языковых единиц в рамках выбранного корпуса, проведена по схеме, предложенной Л. Г. Бабенко: выявление 1) поля концепта, 2) его ядра и 3) приядерной зоны, а также 4) ближайшей и 5) дальнейшей периферии. Поле концепта отражено на материале контекста слова «суверенитет» в объеме предложения. В предложении взяты слова, находящиеся в непосредственной близости от слова «суверенитет» и связанные с ним по смыслу. Это позволило обобщить все контексты, формирующие поле концепта «суверенитет» в данном корпусе. В связи с тем что проведение психологического эксперимента для определения ключевых слов концепта в отсутствие достаточно большого числа людей — носителей английского языка — не представляется возможным, а также в связи с отсутствием слова «суверенитет» в Эдинбургском ассоциативном тезаурусе английского языка для определения ключевых слов, составляющих ядро концепта, используется показатель их частотности.

Полученный на основании анализа используемого корпуса концепт даст возможность сравнить парадигматические связи данного слова на основе словарей английского языка и его синтагматические связи на основе корпуса; сравнить поле концепта «суверенитет» на основе данного корпуса и на основе национального корпуса английского языка; сравнить поле данного концепта у тех стран, которые высказались в пользу правомерности действий Косово, и у тех, кто принял противоположную позицию. Эти действия, в свою очередь, позволят наглядно увидеть механизм «управления» употреблением данного концепта для достижения вполне очевидных политических целей и, таким образом, приблизиться к уточнению понятия «политический концепт».

Анализ семантики слова «суверенитет» на основе словарей английского языка (Оксфордский словарь современного английского языка, словарь Вебстера и пр. [5–7]) показывает, что суверенитет, во-первых, обозначает, качество или признак какого-то субъекта (например, *body politic* — государства как политики, сообщества, человека), а именно верховенство или верховную власть, при этом значение верховной или абсолютной власти может быть расширено за счет сем «неограниченная» и «неконтролируемая». В качестве субъекта наиболее часто встречается государство. Во-вторых, суверенитет означает статус (например, государства), дающий право на автономию и независимость. В случае когда суверенитет понимается как признак политического сообщества, он подразумевает право этого сообщества (чаще всего государства) на самоуправление и невмешательство во внутренние дела, а также контроль

внешнего воздействия и влияния. Словарь Вебстера [6] приводит слова «независимость», «свобода», «самоопределение», «самоуправление» в качестве синонимов слова «суверенитет». Кроме того, встречается метонимическое употребление суверенитета как замены словосочетания «суверенное государство» либо слов «территория», «политическая единица» и пр. Словари датируют начало использования данного слова XIV веком, Британская энциклопедия отмечает, что этимология слова «суверенитет» восходит к латинскому «*supremus*» («верховный», «наивысший»), но слово входит в обиход в измененном французском употреблении — «*souverainete*». Британика также отмечает, что концепт суверенитета является одним из наиболее дискуссионных, так как близко связан с допускающими различное толкование концептами «государство», «управление государством», «независимость» и пр.

Наиболее часто в одном предложении со словом «суверенитет» встречаются слова и словосочетания «государство» — 1154 раза, «территориальная целостность» (443 раза), «международное право» (221 раз), «территория» (174 раза). Видно, что ключевые слова, выделенные в корпусе на основе частотности, репрезентативны для концепта и во многом совпадают с парадигматическим значением, приведенным в словарях. Отличия от основных словарных значений обусловлены тематикой, жанровыми особенностями и функцией текстов.

*Ядро концепта* «суверенитет» составляет его когнитивно-пропозициональная структура, к которой относятся субъект суверенитета, предикат, его источник, временные и пространственные характеристики данного концепта. Слово «государство» выступает в данном корпусе в качестве определяющего слова для суверенитета, т. е. в значении «государственный суверенитет» («*state sovereignty*») — 40 раз или «суверенитет государства» («*sovereignty of state*») — 16 раз. В свою очередь, слово «суверенный» чаще всего встречается как определение слова «государство» — 174 раза. Суверенитет *есть признак* государства, государство наделено суверенитетом. *Источник* суверенитета государства — воля людей, которые его создают («*sovereign rights of the people*» etc.), или признание («*recognition*») другими государствами — субъектами международного права. В случае внешнего измерения суверенитета он выступает в качестве *принципа* построения отношений между государствами на мировой арене. Суверенитет распространяется на территорию государства, создавая его границы и придавая ему право на территориальную целостность. Как следствие, суверенитет имеет *временные характеристики*: может быть установлен, признан или потерян с определенного момента, а также *пространственную структуру*: внешнее измерение суверенитета распространяется на отношения между государствами, внутреннее измерение направлено на территорию государства.

Наиболее типичны следующие лексические репрезентации когнитивно-пропозициональной структуры концепта «суверенитет», составляющие его *приядерную зону*:

1. Суверенитет как признак и принцип.

Государство может обладать («*possess sovereignty*») суверенитетом или терять («*lose*») его. Государство может претендовать на суверенитет («*claim*»

sovereignty») над территорией либо группой людей. Суверенитет «характеризует» («is characterized by») государство как сообщество, которое состоит из территории и населения, являющихся субъектом организованного политического управления. Обладание суверенитетом, а значит государственностью, подразумевает наличие намерения и воли выступить сувереном («intention and will to act as a sovereign»), собственно деятельность и проявление себя в качестве такового суверена («manifestation или manifesting of sovereignty» — 9 раз, или «display of sovereignty» — 1 раз, или «exercise of sovereignty» — 1 раз).

Обладание суверенитетом означает «государственность» («statehood»). Суверенитет дает государству следующие права («rights inherent in and encompassed by sovereignty» — 10 упоминаний, «sovereign rights» — 24 упоминания): право на территориальную целостность (654 упоминания), суверенное равенство с другими государствами (75 раз), свободу и политическую независимость государств (51 упоминание). В данном корпусе слова «независимость» и «территориальная целостность» выступают в качестве функциональных синонимов суверенитета. Антонимами выступают «принцип самоопределения народов» («self-determination of nation») и равные права народов («equal rights»).

## 2. Источник суверенитета.

Так как суверенитет имеет внутривнутриполитическое измерение, то его источником внутри государства являются народ, нация или граждане («sovereignty rests with the people», «sovereignty is vested in citizens»), суверенитет выражается представителями народа. Внутреннее измерение суверенитета государства закреплено в основном законе той или иной страны. Например, в Конституции Косово записано, что суверенитет Косово является «неделимым, неприкасаемым, неотчуждаемым и защищенным всеми средствами настоящей Конституции и права». Во внешней политике суверенитет государства может быть признан («recognize»), а также подтвержден («reaffirm» — 59 раз, «confirm» — 14 раз) другими государствами — субъектами международного права. Международное право, упоминаемое 221 раз, закрепляет суверенитет в качестве принципа взаимоотношений между государствами.

## 3. Временные характеристики суверенитета.

Новообразующееся государство может объявить («proclaim») о своем суверенитете и независимости, т. е. его действие начинается с какого-то определенного момента. До этого момента суверенитет не существует («sovereignty is inexistent»).

## 4. Пространственные характеристики суверенитета.

Суверенитет как право на независимость имеет внутреннее и внешнее измерение: суверенное равенство государств подразумевает нерушимость территориальной целостности и политическую независимость государств и служит основой для их мирного сосуществования в мировом сообществе. Суверенитет в отношениях между государствами означает их независимость друг от друга. Независимость в отношении части земли — это право реализовать в его пределах функции государства, исключая все другие государства («right to exercise functions of the state»). Именно поэтому говорят об эксклюзивном

суверенитете («exclusive sovereignty»). Государство имеет эксклюзивные права на контроль над территорией и на реализацию компетенций государства, также называемые «эксклюзивной юрисдикцией на данной территории» или «суверенными прерогативами государства». К суверенным компетенциям государства относятся выдача паспортов, организация выборов в национальные органы, поддержка целостности территории и пр.

Суверенитет и территориальная целостность — *неотъемлемые характеристики государства*; количество упоминаний заставляет считать словосочетание «суверенитет и территориальная целостность» устойчивым, по крайней мере в пределах данного подкорпуса. Сочетание «суверенитет над территорией» («sovereignty over territory») встречается 70 раз, а сочетание «территориальный суверенитет» («territorial sovereignty») — 46 раз. «Суверенитет» — это нечто, что государство распространяет на территорию, суверенитет делает территорию целостной, неделимой. Восемь раз разными государствами приводится цитата из решения Международного суда, в которой говорится, что уважение территориального суверенитета, т. е. с позиции того или иного государства — территориальная целостность, есть основа основ международных отношений между независимыми государствами, что установлено международным правом («'Between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations' [4, 35], and international law requires political integrity also to be respected...»). Территориальная целостность — это «неотделимый атрибут государственного суверенитета». Территория, как в случае провозглашения государственности Косово, может «приобрести суверенитет» («attain sovereignty»). Может происходить трансфер суверенитета над территорией, например от государства к международному сообществу, но, как неоднократно (4 раза) говорится в рассматриваемых текстах, трансфер суверенитета может или должен быть зафиксирован в международных соглашениях или резолюциях; по вопросу о суверенитете Косово трансфер суверенитета от Югославии, а затем от Сербии нигде не зафиксирован. Насильственный же захват территории одного государства другим не приводит к возникновению суверенитета этого государства над захваченной территорией вне зависимости от того, установлен ли контроль над территорией.

Территория может быть автономной, находясь «под титулом суверенитета» того или иного государства («the title of sovereignty over Kosovo belonged to Serbia»); так, Косово было автономией под суверенитетом Югославии и в дальнейшем — Сербии, при этом автономия не «устраняет» («set aside») суверенитет государства над территорией данной автономии. Территория может быть возвращена под суверенитет того или иного государства с предоставлением ей автономии различного объема. При этом ситуация, в которой два сообщества одновременно распространяют свой суверенитет на одну и ту же территорию, представляется нежелательной («the sovereignty should be divided between two bodies which were to exist side by side in the same territory»). Территория получает права автономии, но продолжает функционировать в пределах суверенитета государства («should operate within the framework of Lithuanian sovereignty»).



Суверенитет, как уже было сказано, имеет внешнее измерение: он может быть признан другими странами, на него могут распространяться разного рода международные документы, может быть гарантирован, а также может попасть под угрозу со стороны внешних акторов. Угрозой суверенитету является угроза территориальной целостности или политической независимости государства вследствие акта агрессии, вооруженного вторжения или другого применения силы или угрозы ее применения. Некоторые страны настаивают на том, что право на самоопределение наций («right to self-determination of nations») угрожает суверенитету, так как приводит к пересмотру территориальной целостности государства, в других случаях это право рассматривается как еще одно основание международного права, наряду с суверенитетом национальных государств.

Суверенитет — база для отношений государств в контексте международного права («international law» — упоминается 221 раз), так как «принцип суверенитета» («principle of sovereignty» — 42 упоминания) и права, которые он дает государству, — основа построения международных отношений и современной системы международного права. Уважение к принципу суверенитета («respect for sovereignty» — 69 раз) — основа мира и безопасности в международном сообществе. Принцип суверенитета («principle of sovereignty» — 42 раза) или принцип суверенного равенства («principle of sovereign equality» — 10 раз) есть основа отношений между государствами в рамках международного права. Государства уважают («respect for sovereignty» — 115 раз) суверенитет других государств, что обозначает уважение к правам, даваемым суверенитетом, в том числе к праву на независимость.

Уважение к суверенитету, а также готовность гарантировать это уважение подтверждаются разного рода актами международного права, отсылками к которым пестрят тексты (Устав ООН, Хельсинкский акт, различные резолюции СБ ООН и пр.). Страны — участницы тех или иных международных соглашений подтверждают в них свою приверженность суверенитету («full commitment to sovereignty» — 30 раз); приведены ссылки на решения и заявления СБ и Ассамблеи ООН по различным вопросам, могущим затронуть суверенитет государства, в которых говорится о его «нерушимости» («inviolability of sovereignty»), «поддержке всех усилий по поддержанию суверенного равенства всех государств» и пр.

Угроза суверенитету («threat to sovereignty», «sovereignty is affected») внешне означает угрозу миру, акт агрессии. Угроза суверенитету, исходящая изнутри государства, называется «secession» — отделение части территории.

Казалось бы, *дальнейшая периферия* данного концепта должна быть довольно узка, так как жанровые особенности текстов ограничивают субъективно-модальные смыслы. Однако контекст концепта изобилует эмоционально нагруженными словами и выражениями, такими как «crucial importance» (критически значимый), «essential» (существенный), «firm and unequivocal reaffirmment» (устойчиво и определенно подтвержденный), «full respect for sovereignty» (полное уважение к суверенитету), «unalienable attribute» (неотъемлемый признак), «key principal of international law» (ключевой принцип международного права), «integral component» (неотделимый компонент), «indisputability of principle»

(неоспоримость принципа). Это объясняется тем, что участники рассмотрения дела представляют свою точку зрения, свою позицию и желают, чтобы она была разделена судом, апеллируют к эмоциям, взывают к судьям, используя образные выражения для придания своей точке зрения большей убедительности.

Различия в толковании концепта «суверенитет» касаются его носителя и характеристик. Государства-оппоненты косовской независимости настаивают на абсолютности и эксклюзивности суверенитета государства, в то время как государства – сторонники признания акта провозглашения независимости Республики Косово указывают на то, что «время для абсолютного и эксклюзивного суверенитета прошло» («time for absolute and exclusive sovereignty has passed»). При этом государства, на территории которых существуют сепаратистские государственные образования или имеется опасность отделения каких-либо территориальных единиц под предлогом реализации принципа самоопределения наций, такие как Россия, Испания, Кипр, Китай, используют эмоциональные аргументы для поддержания нерушимости принципа суверенитета, поскольку они воспринимают ситуацию с Косово в качестве опасного прецедента международного права.

Подводя итог, следует отметить, что сербская позиция относительно незаконности провозглашения Республики Косово суверенным государством поддержки Международного суда не получила. 22 июля 2010 г. была официально оглашена резолюция Международного суда, в которой провозглашалась правомочность действий косовского руководства. В то же время резолюция Международного суда носит консультативный характер и не является основанием для принятия Республики Косово в ООН.

К настоящему времени независимость Республики Косово признали 106 стран – членов ООН (из 193). В соответствии с Уставом ООН для принятия страны в ООН необходимы поддержка  $\frac{2}{3}$  членов ООН (126 стран) и обязательная рекомендация Совета Безопасности ООН (два постоянных члена которого – Россия и Китай – не согласны с признанием независимости Косово). Поэтому с точки зрения международного права Республика Косово является «частично признанным государством», и вопрос о ее полном суверенитете остается открытым. В то же время анализ документов, представленных различными государствами в Международный суд ООН, показывает, что в настоящее время существуют разнообразные толкования термина «суверенитет», единое понимание данного термина в международном праве отсутствует или по крайней мере вопрос о едином значении данного термина остается в международном сообществе предметом обсуждения.

---

1. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремииологии) : проспект слов. / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 2010.

2. Бабенко Л. Г. Современный русский язык: языковая картина мира и идеографическая лексикография // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитарные науки. 2012. № 4 (108). С. 301–307.

3. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion) [Electronic resource]. URL: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4> (дата обращения: 12.03.2013).

4. International Court of Justice Reports. [Electronic resource]. URL: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=kos&case=141&k=21&p3=0> (дата обращения: 12.03.2013).

5. Edinburgh Associative Thesaurus [Electronic resource]. URL: <http://www.eat.rl.ac.uk/> (дата обращения: 13.03.2013).

6. Merriam-Webster-Online: Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereignty> (дата обращения: 13.03.2013).

7. Oxford Dictionaries [Electronic resource]. URL: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sovereignty?q=sovereignty> (дата обращения: 13.03.2013).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 94(4-191.2):321 + 929Габсбурги-048.35

**А. Г. Нестеров**

### **АВСТРО-ВЕНГРИЯ КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ОПЫТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ XXI в.**

В статье рассматривается Австро-Венгерская монархия как система интеграции стран Центрально-Восточной Европы, трансформировавшаяся из абсолютной монархии австрийских Габсбургов; показаны особенности функционирования и противоречия австро-венгерской интеграционной модели; дана оценка возможностей модернизации монархии Габсбургов в начале XX в.; показано значение опыта Австро-Венгрии для современной европейской интеграции.

**Ключевые слова:** Австро-Венгрия, Габсбурги, интеграция, Центрально-Восточная Европа, модернизация.

В последнем десятилетии XX — начале XXI в. Австро-Венгрия стала привлекать к себе пристальное внимание исследователей — причем не только историков, но и политологов. Причина такого интереса прежде всего в том, что процессы, протекавшие на территориях Дунайской монархии в XIX — начале XX в., во многом перекликаются с теми процессами, которые стали происходить в Центрально-Восточной Европе через сто лет после распада Австро-Венгрии. Объединенное пространство Центральной Европы в рамках Австро-Венгерской монархии представляло собой во многом не только политическое, но и экономическое единство, хотя неразвитость коммуникаций создавала серьезные препятствия на пути экономического развития страны. Так, известный исследователь, публицист и политический деятель Оскар Яси отмечал, что для заводов Вены экономически выгоднее было экспортировать свою продукцию через Гамбург в Аргентину, чем доставлять ее в Буковину — северо-восточную провинцию Монархии [4, 238].

Австро-Венгерскую монархию с полным правом можно назвать, используя выражение Фридриха Ницше, «несвоевременной Империей» (*das unzeitgemesse*

Reich). Империя австрийских Габсбургов формировалась как средневековая держава, объединившая в рамках личной унии множество княжеств и королевств. Такое государство было естественным в эпоху Средних веков, когда один монарх мог быть правителем множества государств, объединяя их только своей общей властью, но не делая их при этом единым целым. Для того чтобы государство личной унии превратилось действительно в единое государство, требовалось время. Так, личная уния конца XV в. между испанскими королевствами Кастилией и Арагоном (каждое из которых также представляло собой личные унии между отдельными владениями) только в восприятии историков сделала Испанию единым государством, реально единые органы управления для всей Испании были созданы лишь в середине XVIII в. Такой путь постепенно прошла и держава Габсбургов.

С другой стороны, монархия Габсбургов, по крайней мере ее «австрийская» часть, во многом опередила время своего реального существования. Многие параметры развития «Королевств и земель, представленных в Имперском Совете» (Цислейтании) соответствуют особенностям европейских интеграционных структур конца XX — начала XXI в.: единое гражданство, единое экономическое пространство, региональные парламенты и правительства, система делегирования полномочий на «наднациональный» (имперский) уровень и т. д. В то же время хочется подчеркнуть, что создатели такой «интегрированной» империи не стремились к подобному результату. Австро-Венгерская монархия стала тем, чем она стала к концу XIX в., во многом вопреки воле своих создателей. Тем не менее представители династии Габсбургов понимали сущность австро-венгерской государственности достаточно точно. Так, сын и наследник императора Франца Иосифа эрцгерцог Рудольф писал в 1886 г. французскому политику Жоржу Клемансо: «Габсбургское государство давно уже осуществило мечту Виктора Гюго о Соединенных Штатах Европы, пусть и в миниатюрной форме. Австрия — блок разных стран и народов под единым руководством. Такая концепция имеет огромное значение для мировой цивилизации. Тот факт, что реализация этой идеи, выражаясь дипломатично, пока не совсем гармонична, не означает ошибочности самой идеи» [2, 37].

Императоры из династии Габсбургов, правившие после Тридцатилетней войны — начиная от Фердинанда III и Леопольда I вплоть до Франца Иосифа I, вступившего на престол в 1848 г. и царствовавшего до 1916 г., — были убежденными сторонниками абсолютной монархии. Стремление монархов к централизации, укреплению единства своей державы способствовало постепенному развитию связей между отдельными разрозненными территориями Габсбургской монархии. Чиновничество и армия стали опорами имперского единства. При этом подданные Монархии по-прежнему ощущали себя жителями своих земель — Чехии или Тироля, Моравии или Зальцбурга и т. д. Собственно, «австрийцами» могли называться все подданные Монархии. Следствием этого стала известная формула: быть австрийцем — значит не иметь национальности. Реформы, проведенные еще в XVIII в. императором Иосифом II, привели к формированию достаточно эффективного аппарата управления.

Эпоха романтического национализма XIX в., в ходе которой каждая нация Европы стремилась к созданию собственного национального государства (при этом зачастую отказывая в таком праве «своим» национальным меньшинствам), выявила тенденцию, противоположную логике развития Австро-Венгрии. Правящая династия стремилась укрепить единство, национализм же вел к разрушению единства имперского государства. Поэтому перед династией и лично перед императором Францем Иосифом стояла сложнейшая, практически неразрешимая проблема: как противостоять национализму, по сути избегая борьбы с ним, как найти то компромиссное решение, которое могло бы удовлетворить большинство населения и не привести к внутреннему конфликту? Императоры из дома Габсбургов стремились играть роль наднационального арбитра, гаранта целостности государства и гаранта самого факта его существования.

В этом аспекте главную проблему для монархии Габсбургов представляла Венгрия. Непокорное, уверенное в естественности своих привилегий венгерское дворянство противилось любым реформам на территориях Венгерского королевства — не менее многонациональных, чем Австрийская часть Монархии. Соглашение 1867 г., так называемый *Ausgleich*, которое привело к созданию Австро-Венгрии — дуалистической монархии, состоящей из двух равноправных частей, объединенных лишь личностью монарха, который в Венгрии носил не императорский, а королевский титул, не привело к прекращению борьбы венгров за свои привилегии. Как отмечает исследователь Австро-Венгрии Я. Шимов, трансформированная в Австро-Венгрии империя стала по сути постимперским государством, в котором монарх превратился лишь в один из институтов высшей власти, и династия Габсбургов так и не смогла разрешить противоречие между имперской формой и постимперским содержанием своего государства [3, 16].

Противоречия между формой существования империи Габсбургов и ее внутренним содержанием нашли отражение и в разнонаправленных векторах развития отдельных частей государства. Австрийская часть Монархии (Королевства и земли, представленные в Имперском Совете) по сути формировалась именно как интегрированная европейская структура с наднациональным элементом государственного управления — в лице императора и правительства, общего для всех земель. Венгерское королевство развивалось как национальное государство унитарного типа, власти которого стремились максимально осложнить существование всех невенгерских народов королевства, по сути принудив их стать венграми. Как отмечают современные исследователи А. Шарый и Я. Шимов, соглашение 1867 г. поставило венгров и Венгрию выше других народов Монархии, также обладавших древней государственностью [2, 97]. Именно сопротивление Венгрии не позволило в 1871 г. подписать проект «Фундаментальных статей», которые должны были трансформировать дуалистическую монархию в триалистическую, предоставив Чехии права, аналогичные правам Венгрии. Государство осталось дуалистическим, а национализм отдельных народов Монархии вышел за династическо-государственные рамки, так как националистически настроенные лидеры получили доказательства, что в рамках Монархии добиться повышения статуса своих народов не удастся.

Наследник Австро-Венгерского престола племянник императора Франца Иосифа эрцгерцог Франц Фердинанд считал проведение реформ, которые должны были реформировать дуалистическую схему, абсолютно необходимым. Поэтому не случайно внимание эрцгерцога привлекла книга, выпущенная в 1906 г. трансильванским румыном Аурелом Поповичи, — «Соединенные Штаты Великой Австрии».

Аурел Поповичи предлагал разделить Австро-Венгрию на 15 равноправных автономных территориальных единиц, созданных по национальному принципу. Предполагалось, что такими штатами должны были стать: 1) Немецкая Австрия (территории Австрии, заселенные в основном этническими немцами), 2) Крайна (Словения), 3) Трентино (Тироль), 4) Триест (населенный итальянцами), 5) Чехия (населенные чехами части Чехии, Моравии и Силезии), 6) Немецкая Богемия (северо-западная часть Чешского королевства, населенная немцами), 7) Немецкая Моравия (Силезия), 8) Венгрия, 9) Словакия, 10) Трансильвания (населенные румынами части Венгрии и Буковины), 11) Секейские земли (венгерская часть Трансильвании), 12) Воеводина (населенная сербами территория в Южной Венгрии), 13) Хорватия и Славония, 14) Западная Галиция (населенная поляками), 15) Восточная Галиция (населенные украинцами части Галиции, Буковины и Венгрии) [6, 3–4]. Правительство Соединенных Штатов Великой Австрии должно было состоять из представителей отдельных штатов, главой государства оставался император. Государственным языком этой федерации должен был стать немецкий язык, хотя в отдельных штатах должны были широко использоваться местные языки. Как отмечают современные исследователи, главным пострадавшим в результате такой реформы должна была стать Венгрия, хотя ее границы, предлагавшиеся Аурелом Поповичи, все равно были бы шире, чем так называемые «трианонские» границы, установленные в 1920 г. и существующие с незначительными изменениями вплоть до настоящего времени [5, 21].

Румынский исследователь Юлиан Никушор Исак проанализировал содержание конституционных документов, предложенных Аурелом Поповичи, и выявил в них множество параллелей с консолидированным текстом Договора о Европейском союзе в редакции Лиссабонского договора (2007). Среди параллелей — создание единой таможенной территории, единого гражданства союза при сохранении гражданства каждой национальной территории, принцип субсидиарности при распределении полномочий между наднациональными и национальными структурами, проведение единой (общей) политики в сфере безопасности и обороны, единая правовая система и др. [6, 5–8]. Конечно, реализовать этот проект, разрушавший все исторические структуры империи Габсбургов, в начале XX в. было нереально.

Эрцгерцог Франц Фердинанд, заинтересовавшийся проектом Аурела Поповичи, естественно, не стремился к столь радикальному реформированию Монархии. Его идеей было введение в Венгрии всеобщего избирательного права и тем самым резкое сужение политической базы венгерского дворянства. При этом Франц Фердинанд предполагал параллельно вести либерализацию политического строя Венгрии и подавлять силой сопротивление сто-

ронников венгерских дворянских вольностей [2, 105]. Гибель наследника в результате покушения в Сараево в июне 1914 г. и начало Первой мировой войны не позволили реализовать эти планы.

В то же время в Австро-Венгрии была предпринята реальная попытка формирования многонациональной общности, в которой удалось бы преодолеть национальные противоречия и националистические тенденции. Как ни парадоксально, реализовать такой проект попытались в отдаленной и отсталой провинции Монархии — герцогстве Буковина, население которого отличалось исключительным этническим разнообразием.

Буковина, бывшая в Средние века частью княжества Молдавия, вошла в состав державы Габсбургов в 1775 г., когда русские войска одержали очередную победу над Османской империей. По данным обследования края, проведенного австрийцами в 1770-х гг., население Буковины составляли около 55 тыс. румын, 21 тыс. украинцев (русинов и гуцулов) и около 5 тыс. представителей других этносов. Активная миграционная политика австрийского правительства привела к тому, что к 1910 г. в Буковине проживали 305 тыс. украинцев, 273 тыс. румын, 103 тыс. евреев, 65 тыс. немцев и 36 тыс. поляков, а также представителей других этносов (включая несколько десятков тысяч итальянцев) [1, 42, 46]. При этом необходимо учитывать фактор эмиграции. Так, из Буковины в начале XX в. в страны Америки (США, Канада, Аргентина) эмигрировали свыше 35 тыс. человек, из которых 90 % составляли украинцы [Там же, 48]. При этом украинцы населяли в основном северную часть Буковины, румыны — южную. Как и в других землях Габсбургской монархии, региональный центр — город Черновиц (ныне Черновцы) — был перестроен в духе «маленькой Вены»: каждый регион желал иметь в своем центре воплощение имперского величия, связанного с имперской столицей. Открытие Буковинского университета, которому было дано имя императора Франца Иосифа, способствовало укреплению австрийского культурного влияния на дальнем северо-востоке Монархии.

Подписанное в 1908 г. Буковинское соглашение (*Bukowinaer Ausgleich*) привело к созданию в герцогстве четкой системы регионального представительства (на основе всеобщего избирательного права) и системы управления, учитывавшей интересы всех этнических групп. Соглашение привело к стабилизации межэтнических отношений в Буковине и могло стать прообразом урегулирования этнических конфликтов на всей территории Монархии. Тем не менее этого не произошло.

Итог для империи Габсбургов оказался плачевным. Австро-Венгрия как интеграционный проект так и осталась невозможностью в мире возможностей. Традиционно считается, что монархию Габсбургов разрушили волны национализма, но необходимо отметить еще один существенный фактор: Австро-Венгерская интеграция оказалась возможной только в мирных условиях. Великодержавная политика, традиционно проводившаяся Габсбургами, не менее, чем национализм, способствовала разрушению Монархии. Не случайно за все время своего существования Австро-Венгрия не вела ни одной войны, и первая же война, в которую империя вступила в 1914 г., привела ее к краху.

Но можно предполагать, что центробежные силы в Австро-Венгрии в начале XX в. и без войны были сильнее центростремительных. Спасти империю Габсбургов могла только модернизация, которая была в тех условиях абсолютно невозможной. Традиционно считается, что Австро-Венгрия, «лоскутная монархия», была не более чем пережитком давно ушедших эпох и ее разрушение было вполне естественным. Однако, с другой стороны, очевидно, Империя намного обогнала свое время и ее существование в реальных условиях начала XX в. оказалось невозможным, преждевременным.

Что можно использовать в опыте существования двуединой монархии в настоящее время, в условиях начала XXI в.? Прежде всего, понимание того, что интеграционный процесс возможен только в условиях мирного времени и что он способствует мирному развитию охваченных им территорий. Единство экономики и единство культуры, «идентичность» (европейская сейчас или австрийская прежде), которая должна быть присуща населению интегрированного пространства, толерантность, общий или хотя бы близкий менталитет — все это характерно как для Австро-Венгрии, так и для современного Европейского союза. И — во многом близкие угрозы интеграционному единству, проистекающие из национализма и ксенофобии, неконтролируемых миграционных процессов, завышенных социальных требований. Австрийская цивилизационная, интеграционная модель не выдержала столкновения с вызовами и реальностями XX в. Тем более необходимо учитывать ее опыт для оценки перспектив развития Европейского союза в начале XXI в. и для определения и предотвращения возможных угроз европейскому интеграционному развитию.

---

1. *Чучко М.* «И взят Бога на помощь»: соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). Чернівці, 2008.

2. *Шарый А., Шимов Я.* Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи. М., 2011.

3. *Шимов Я.* Австро-Венгерская империя. М., 2003.

4. *Ясу О.* Распад Габсбургской монархии. М., 2011.

5. *Crișan V.* Centenarul unei célèbre cărți: Statele Unite ale Austriei Mari, de Aurel C. Popovici // Revista transilvania. 2006. № 3. P. 14–21.

6. *Isac I. N.* The United States of Great Austria — step to European Union? // 10<sup>th</sup> International Symp. Interdisciplinary Regional Research (ISIRR-2009). Hunedoara (Romania), 2009. P. 2–11.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*



УДК 94(450) + 323(450) + 008

Т. П. Нестерова

**КОНЦЕПЦИЯ «ИТАЛЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»  
КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1920–1930-х гг.**

Статья посвящена концепции «итальянской цивилизации», ставшей идейной базой для итальянской экспансии в регионе Средиземноморья в 1920–1930-х гг. Последовательно рассмотрены основные направления политики Италии по отношению к данному региону, выявлена и проанализирована концепция «средиземноморской идентичности», показано, что значительную роль в реализации этой концепции играла политика в сфере культуры и архитектуры. В статье показано, что итальянское правительство стремилось добиться восприятия в странах бассейна Средиземного моря «средиземноморской идентичности» и усиления итальянского влияния средствами культуры и архитектуры.

**Ключевые слова:** Италия, история Италии, фашизм в Италии, архитектура Италии, культура Италии, внешняя политика Италии.

Осознание единства европейской цивилизации, ее происхождения от цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима пришло к европейским мыслителям в эпоху Возрождения. Именно общность античных корней европейской цивилизации, повлиявшая на формирование европейских государств в эпоху Нового времени, заложила основу, на которой стали появляться идеи европейского единства.

Идея возрождения единой «средиземноморской цивилизации», объединяющей не только Европу, но и страны Северной Африки, в древности входившие в состав Римской империи, — цивилизации, впервые созданной в эпоху Древнего Рима, сформировалась еще в XIX в. Особенно последовательно обращались к античным корням современной европейской цивилизации итальянские мыслители. В XIX в. Карло Каттaneo (1801–1869), один из теоретиков европейского единства и создателей международного движения «Молодая Европа», отстаивал в качестве символов интеграции Европы четыре принципа: единство власти (империя), единство языка (народная латынь), единство законов (римское право) и единство веры (христианство).

В книге Джованни Никотра Рандаццо «Итальянцы в Африке», опубликованной в 1896 г., подчеркивалась историческая значимость римской (итальянской) цивилизации для формирования средиземноморского единства [12]. Никотра Рандаццо последовательно обосновывал историческую миссию Италии, географическое положение которой фактически обязывает итальянцев интегрировать регион Средиземноморья, возлагает на них миссию нести принципы европейской цивилизации другим средиземноморским народам.

Идея цивилизационного единства Европы, восходящая к античной, прежде всего римской, цивилизации, последовательно присутствовала в политике Италии фашистского периода, в том числе и во внешней. К 1930-м гг. в Италии окончательно была сформулирована концепция «итальянской цивилизации»,

или «римской цивилизации», которая лежала в основе современной европейской цивилизации и позволяла европейцам ощущать и понимать общие основы современной Европы.

В 1920–1930-х гг. именно итальянцы назвали свою страну «осью Средиземноморья». Для такого наименования, отмечали в Италии, существует достаточно оснований. Во-первых, географическое положение Италии в центре Средиземноморья способствует превращению этой страны в связующее звено Европы и Африки. Во-вторых, исторические традиции Италии, восходящие ко временам Римской империи, являются объединяющим элементом культуры Европы и Северной Африки. Италия становится мостом между Европой и Африкой, а итальянская колония Ливия — «четвертым берегом» Италии и Европы. Идея «средиземноморской общности» постепенно трансформировалась в идею «новой средиземноморской цивилизации», ведущим элементом которой становилась Италия [7, 8]. Основой «новой средиземноморской цивилизации» должно было стать понятие «общей средиземноморской идентичности».

Обоснование идейного и политического смысла этой концепции было приведено в статье Гвидо Пигетти, опубликованной в журнале «Джераркия» [13, 626–629]. Фашистская цивилизация, наиболее зримым и ярким воплощением которой для внешнего мира является архитектура, подчеркивал Пигетти, по всем параметрам соответствует логической конструкции фашизма. Она есть истинное воплощение идей XX в. со всей его сложностью и неоднозначностью. «Неоспоримо, — писал Пигетти, — что именно архитектура становится общим языком современной цивилизации, этот язык максимально доступен для понимания во всех странах... Разный архитектурный язык проявляется в разности стилей и свидетельствует о разности истории... Но на какую бы страну Европы мы ни взглянули, мы увидим, что в основе европейской архитектуры сохраняется римский дух (*latinita*) — то общее, что есть у европейцев в истории и культуре, несмотря на заселение Англии, Франции и Германии варварами» [Там же, 626]. Фашистский автор рассматривает диалог культур отдельных европейских стран через призму Рима, считая, что основой такого диалога может стать только поиск исконной римской общности, которая лежит в основе современной европейской цивилизации. Поэтому для европейцев было бы естественным обратиться к римскому наследию, соединив его с «триумфом рационализма, соответствующим духу XX в.», и именно такое обращение может стать основой для сближения европейских стран и народов в рамках новой — Римской — империи, которая создаст новую европейскую общность вокруг Италии [Там же, 627–628].

В Итальянской энциклопедии (1934) понятие «империя» определялось так: «Империя означает экспансию — но не территориальную, военную или торговую, но духовную и моральную... Империя требует дисциплины, координации сил, чувства долга и самопожертвования» [6, 97]. Средиземное море должно стать римским морем, точно таким, каким оно было во времена Империи.

В 1936 г., после завоевания Эфиопии и провозглашения Италии империей, была выдвинута идея Универсальной выставки, которая предполагала все-

стороннее «представление итальянской цивилизации со времен Августа до времен Муссолини» [11, 272]. Выставка, получившая название «Универсальная римская выставка 1942 года» (*Esposizione universale romano 1942, E-42, EUR*), была намечена на 1942 г. И должна была быть посвящена 20-летию установления фашистского режима в Италии (и, отметим, 2000-летию со дня рождения Гая Октавия, ставшего в 27 г. до н. э. императором Августом). Эта выставка должна была служить зримым воплощением концепции итальянской цивилизации. Не случайно центром ее планировался Дворец итальянской цивилизации.

Предварительный замысел выставки был представлен в статье «Обновление Рима», в которой были намечены основные направления урбанистической политики фашизма [2]. Автором статьи был Джузеппе Боттаи, один из высших иерархов фашистской Италии, теоретик культурной и социальной политики режима, в 1929–1932 гг. министр корпораций, в 1936–1943 гг. — министр образования, одновременно с 1925 г. редактор журнала «Критика фашиста», с 1939 г. — также журнала «Примато». Боттаи подробно рассматривал историю застройки Рима в 1870–1937 гг. и подчеркивал, что Рим является уникальным городом, в котором юность Европы встречается с ее историей [14, 22–23]. Джузеппе Боттаи неоднократно обращался к идее строительства Нового Рима, который будет полностью соответствовать величию фашистской эпохи. «Это будет в целом экспрессивное, современное, конкретное — одним словом, фашистское воплощение вечной идеи Рима», — писал Боттаи в декабре 1938 г. в журнале «Иллюстрационе италяна» [Там же, 23]. Журнал «Архитектура» в 1938 г. посвятил специальный выпуск проекту E-42, как его стали называть в 1938 г. В редакционной статье журнала подчеркивалось, что идею выставки поддержал Муссолини, «его гениальность действительно проявилась в поддержке идеи E-42 как плана будущего развития города, и E-42 покажет пример успешной трансформации городского центра современного города» [3, 288].

Постройки EUR, прежде всего такие, как Дворец итальянской цивилизации, Дом труда и др., должны были стать наиболее последовательным воплощением «стиля фашистской эпохи» — «нового ликторского стиля» (*Nuovo stile littorio*), объединяющего элементы классицизма и рационализма. По оценке современных исследователей истории итальянской архитектуры, проект EUR «стал последним значимым эпизодом в отношениях между архитектурой и фашистским режимом» [Там же, 287].

Для реализации проектов выставки Декретом-законом № 1089 от 1 июня 1939 г. был создан Центральный институт реставрации [9, 2850]. Декрет-закон № 1089 включал также обширную преамбулу, в которой давалась теоретическая и практическая оценка места искусства, прежде всего архитектуры, в социальной системе современного мира и подчеркивалась необходимость трансформации городов Италии в соответствии с требованиями времени. Грандиозная и величественная архитектура фашистской Италии должна была, наряду с другими искусствами, способствовать созданию «нового человека» и «нового общества» и воплощению концепции итальянской цивилизации. Выставка

1942 г. могла бы показать достижения страны на этом пути, результатом которых стало бы появление в Италии «истинных интеллектуалов, которые готовы верить, повиноваться и сражаться» [10, 162–163].

Руководство подготовкой выставки было поручено Джузеппе Пагано. Архитектура Универсальной выставки сочетала в себе элементы конструктивизма (рационализма) и римского классицизма. Наиболее ярким проявлением этого стиля стал уже упомянутый Дворец итальянской цивилизации, построенный по проекту Дж. Гуэррини, Б. Ла Падула и Дж. Романо. Конструктивистский прямоугольник фасада дворца был заполнен этажами арок, напоминающих арки Колизея, и создавал впечатление истинно римского сооружения. Такому восприятию способствовало и решение стен дворца в темно-красном цвете, напоминающее сохранившиеся постройки эпохи Древнего Рима. В районе Дворца итальянской цивилизации предполагалось возвести Дворец конгрессов (проект Адальберто Либера) и обширное искусственное озеро, формой напоминающее древний Большой Цирк (Circus Maximus). Своеобразным символом выставки должна была стать огромная величественная арка, вздымавшаяся над входом на выставку и открывавшая вид на Дворец конгрессов. Она воплощала собой интеграцию пространства вокруг цивилизационной модели, созданной Италией.

Секретарь Национальной фашистской партии Акилле Стараче со своей стороны ставил перед проектом EUR не только архитектурные задачи. С его точки зрения, выставка EUR должна была стать прежде всего выставкой «антибуржуазной», показать (и доказать) превосходство фашистской цивилизации над буржуазной цивилизацией, фашистского человека — над человеком буржуазного общества [8, 127]. Стараче подчеркивал, что именно антибуржуазность демонстрирует отличия человека фашистской цивилизации (*civiltà fascista*) от человека, рожденного буржуазной либеральной цивилизацией. По мнению Стараче, эти отличия очевидны даже внешне, поэтому могут быть представлены в образе человека новой цивилизации на выставке [Там же, 128]. Величие новой цивилизации, по мысли Акилле Стараче, должно было способствовать сплочению европейских народов вокруг Италии.

Развертывая идеи Стараче, фашистский публицист Арди обосновывал необходимость более широкого показа на выставке военного аспекта деятельности фашизма, воинственности и милитаризованности итальянцев, обыгрывая многозначность итальянского слова «*borghese*», которое может быть переведено и как «буржуазный», и как «штатский», «невоенный». «Антибуржуазная выставка», таким образом, превращалась в «анти-штатскую», военную выставку, соответствующую новой цивилизационной модели (автор публикации противопоставлял буржуазному духу военный дух, штатской одежде — военную форму и т. д.) [1, 51].

Идея EUR являлась также частью «корпоративного плана развития культуры», изложенного в нескольких публикациях в журнале «Критика фашиста» («*Critica fascista*») [4, 20–21; 5, 334]. С точки зрения фашистских публицистов Армандо Карлини и Джованни Календози, итальянская культура, демонстрируемая на планируемой универсальной выставке, должна показывать

корпоративный характер итальянского общества и итальянской цивилизации. На выставке предполагалось показать преимущество корпоративной организации общества. Наиболее значимой чертой этого плана было намерение продемонстрировать, что в рамках такой организации общества культура приобретает тоталитарный характер, энергия интеллектуалов обретает единую направленность, фрагментарность и дробность традиционной культуры исчезают, сливаясь в единую целостность новой культуры и нового общества [4, 20–21]. Основные постройки выставки, прежде всего Дворец итальянской цивилизации, должны были представить миру не только традиции Италии, но и гомогенность итальянского общества, объединенного фашизмом, и подчеркнуть, что только идеи новой итальянской цивилизации могут способствовать истинной интеграции Европы, объединенной в рамках общей цивилизационной модели.

Концепция «итальянской цивилизации» лишь в ограниченной степени может быть рассмотрена именно как европейский интеграционный проект. В то же время идея культурного и цивилизационного единства Европы, сформировавшаяся на базе понимания значения античной, римской цивилизации как основы для единства всего европейского пространства является вполне современной и актуальной и во многом отразилась в концепциях «европейской идентичности», получивших значительное развитие в конце XX и начале XXI в.

1. *Ardi*. Mostra antiborghese // *Gerarchia*. 1939. № 1. P. 51–53.
2. *Bottai G.* Rinnovamento di Roma // *Nuova antologia*. 1937. 1 gennaio.
3. *Brunetti F.* Architetti e fascismo. Firenze, 1993.
4. *Calendosi G.* Un piano corporativo per la cultura // *Critica fascista*. 1937. 15 nov.
5. *Carlini A.* Cultura e civiltà // *Ibid.* 1 agosto.
6. *Dizionario mussoliniano*. Bologna, 1994
7. *Fuller M.* Mediterraneanism // *Environmental Design: European Houses in the Islamic Countries*. L., 1998.
8. *Galeotti C.* Achille Starace e il vademecum dello stile fascista. Catanzaro, 2000.
9. *Gazzetta ufficiale del regno d'Italia*. 1939. № 154.
10. *Guerri G.B.* Fascisti. Gli italiani di Mussolini. Il regime degli italiani. Milano, 1995.
11. *Il fascismo*. Dizionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico. Milano, 1995.
12. *Nicotra Randazzo G.* Gli italiani in Africa. Catania, 1896.
13. *Pighetti G.* L'architettura del fascismo // *Gerarchia*. 1937. № 9. P. 626–629.
14. *Serio M.* La riforma Bottai delle antichità e belle arti // *Artisti, collezionisti, mostre negli anni di «Primato»*, 1940–1943. Roma, 1996.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИДЕНТИЧНОСТЬ И МИГРАЦИЯ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

УДК 314.745.3–054.72 + 316.422 + 327(569.4) + 327(47 + 57)

**S. Lissitsa**

**WHAT IS VITAL FOR INTEGRATION? RUSSIAN IMMIGRANTS  
AND ISRAELIS SPEAK THEIR MIND**

This research focuses on criteria for evaluating the success of sociocultural adjustment among CIS immigrants in Israeli society. The research objective was to explore: how immigrants and hosts defined the criteria of integration, i.e. what are the requirements an immigrant has to meet to be accepted as a full-fledged member of Israeli society. The research methodology combines qualitative and quantitative methods.

**Key words:** migration, sociocultural adjustment, CIS immigrants, Israeli society, criteria, integration.

Israel is known as a society of immigrants. The patterns of immigration were established during the state's initial forty years, and, in consequence, the practices of institutional absorption became an integral part of Israeli culture, economics, and politics. In social research as well, immigration and absorption occupied a central place [3, 14]. These studies were carried out for the most part from the perspective of the absorbing establishment, the policy question guiding them being how to induce change in the immigrant population so they would rapidly adapt culturally and socially to the Israeli mainstream. The criteria for successful absorption were typically defined according to the judgment of the researchers. The mass immigration from the Commonwealth of Independent States (CIS, the former Soviet Union) at the beginning of the 90s challenged this outlook and made necessary a rethinking of both theory and practice. This article shifts the focus of discussion from the success of absorption to its criteria. What is demanded of the immigrant in order to become an Israeli? What does s/he need to change, and what is s/he allowed to retain? These questions can be summarized in one general question: What are the conditions of entry into Israeli society? We assume that the conditions of entry are an expression

of an essential segment of the values of the target society. No less important is the attitude of the immigrants: What are they prepared to give up, and what do they insist on retaining? We are therefore describing an interaction between two populations rather than the policy of one population towards absorption of the other.

For this shift in approach, a new conceptual framework is needed for comprehending the processes of integration. Key words such as “absorption”, “assimilation”, “adaptation”, and “re-socialization” have been replaced by more symmetrical concepts: “conflict”, “exchange” and “integration” [11]. These key words are more appropriate for the analysis of reciprocal relations between hosts and immigrants without presuming the existence of a dominant culture whose superiority is accepted by all.

Two major characteristics distinguished international waves of migration in general and Jewish migration to Israel:

A. The relative dimensions: the percentage of immigrants in Israel’s population was greater than that in other countries of immigration. At the beginning of the 1990s, more than 50 % of the Israeli population was born outside the country, in contrast to the United States, Germany, or France – 9 %; Canada – 16 %; Australia – 23 % [15].

B. Jewish migration to Israel was defined as “aliya,” accompanied by the narrative of a “return home” and supported by the sense of sharing a common Jewish tradition. This tradition, despite its diversity (from ultra-orthodox to secular nationalist), provided a central element in the self-definition of both the immigrants and the hosts. It was recognition of being Jewish that determined who was allowed to immigrate to Israel [2, 7].

Aliya was considered one of the main objectives of the state of Israel and one of the justifications for its existence. This position was expressed in the basic policies of every Israeli government, in the platforms of most political parties, and in the responses to many public opinion surveys. Unlike most countries of immigration, which made receiving citizenship dependent upon some minimal time in the country and other conditions, Israel granted citizenship to Jewish immigrants immediately upon arrival [6].

Most of the empirical descriptions set out here, not to mention the theoretical assumptions adduced to explain them, are in need of reconstruction in view of the situation created by the wave of immigration from the CIS beginning in the 1990s. The uniqueness of Russian Jewry in comparison with other Jewish Diasporas was recognized even before the most recent wave of immigration. The Jewishness of the Russian immigrants was quite different from that of most Jewish Israeli citizens, even the most secular ones [10]. The difference stemmed mostly from the three generations of religious, political, and cultural severance between Russian Jews and the rest of the Jewish people. Some observers have gone so far as to define the Jews of the CIS as a population that underwent denationalization [8, 19]. Small but influential circles were intensively occupied with nurturing Jewish culture while keeping a low profile towards the outside world [12]. Despite these phenomena, most of Soviet Jewry continued in the direction of cultural assimilation, while achieving excellence in the general Russian culture.

An important characteristic of this wave of migration was its large scope in both absolute and relative terms (approximately one million persons and about 15 % of the entire Israeli population). This immigration was also unique in having impressive human resources. For example, the percentage of those with a higher education is both greater than that of the population in the CIS and greater than that of the host Israeli population [13]. However, this advantage was constrained by an inability to “translate” the resources into economic returns or professional status [17].

The critical situation of the CIS in the beginning of the 1990-th was not perceived by the immigrants as being permanent. The expectation was that it would gradually stabilize and improve. Moreover, the tremendous resources that had been accumulated in the former Soviet Union were expected to enable the CIS to regain respected global status. For these reasons, the sense of dependence on the target society of those emigrating from the CIS was not as great as it had been among the immigrants from Europe or countries of the Middle East during the 1950s. The conditions of exchange between the host society and the immigrants had become more symmetrical. It quickly became clear that the destination society needed the immigrants and not just the opposite. Israel needed Jewish immigration in order to balance the considerable natural increase of the Arab population (whether in Israel or in the Palestinian territories) [16]. Furthermore, the immigrants’ high level of human resources contributed to the growth of Israel’s economy as a whole [18].

It may be said that the Russian-Jewish community in Israel is one of the largest and most developed Russian communities outside the borders of the CIS. Actually, an extensive press has arisen around the immigrant community as well as radio and television stations. They have also developed self-help associations, educational institutions (from kindergarten through teachers’ seminaries), and two or three political parties (which survived until 2003) [4, 5, 10]. Altogether, it is a vibrant and creative community.

Overall, the Russian community in Israeli society developed respectively to global trends. Most western societies have become pluralistic, and multicultural ideologies have become acceptable. These developments have pushed the image of the “melting pot” to the margins of public discourse, even when this image was factually justified (Yuchtman-Ya’ar, 2002). Accordingly, we posit that criteria of integration have changed as well.

#### *Research Objectives*

- To clarify the criteria of immigrants integration;
- To evaluate the perceived importance of each criterion among immigrants and veterans;

#### *Methodology*

This study is based upon both qualitative research, used in order to clarify central issues of concern to the Israeli establishment in matters of immigrants integration and to construct the research instrument, and quantitative research used in order to estimate the perceived “importance” of the various criteria of integration.



## Procedure

### 1. Qualitative research – expert interviews

An exploratory pilot study with experts in matters of absorption (ten 90-minute interviews). We defined as experts people who played leading roles in the process of sociocultural adjustment of CIS immigrants. Some were national or municipal level government officials, while others were active in the private sector such as journalists, psychologists etc. In compiling the list of experts an effort was made to ensure: (a) a fair representation of local versus central government personnel; (b) a variety of professional spheres (politics, media, and psychology); and (c) representation of immigrants as well as the host population. Respondents were briefed about the aims of the study: to clarify the concept of sociocultural adjustment and its spheres and to indicate the essentiality of main criteria in each sphere.

### 2. Quantitative research

The quantitative stage was conducted by telephone survey. Immigrants and Israeli hosts answered parallel questionnaires, the immigrants in Russian and the veteran Israelis in Hebrew. The questionnaire used in the study was formulated as a result of the expert interviews described above and in-depth interviews with 15 veteran Israelis and 15 immigrants.

The goal of the telephone survey was to assess the importance immigrants and host population attached to criteria of sociocultural adjustment. The standard question in the survey was: What should be demanded of an immigrant for him/her to be recognized as an Israeli? Among the listed “conditions for acceptance” were skills, achievements, resources, attitudes, and behaviors. The survey questionnaire included 67 items, each of them considered to be a criterion of sociocultural adjustment. The phrasing of these items was uniform: “For each of the following characteristics, please note to what degree it is vital or not vital if the immigrant is to be considered fully integrated into Israeli society. Give a grade from 1 to 10, with 10 denoting a characteristic vital to sociocultural adjustment (without which it would be impossible to integrate) and 1 denoting a characteristic that is not needed at all.” The internal consistency of the scales was high (Cronbach’s alpha: 0.91 among immigrants and 0.94 among host Israelis).

## Participants

Two parallel representative samples, one of immigrants from the CIS ( $N = 510$ ) and the other of native-born Israelis or Israelis who immigrated before 1989 ( $N = 502$ ). The samples were taken randomly from 75 localities. Gender and age groups were determined by quota according to Central Bureau of Statistics data.

## Findings

In this section, we present the findings of in depth interviews with absorption experts and survey findings.

### In-Depth Interviews with Absorption Experts

The interviews were conducted with the aim of clarifying the concept of *integration* from the perspective of people playing various roles in the absorption process. The respondents were also asked to break down the overall concept into spheres: economic status, housing and employment, social, cultural, educational, psychological, and political.

We began with a simple question:

### **What Is Integration?**

A. I. (immigrant from Former Soviet Union, female), a journalist and past advisor to the Minister of Immigrant Absorption, asserts:

“Integration occurs when people accept you for your personal abilities, when your career isn’t influenced by your accent. That’s the basis of integration. ...when a person has the freedom to choose whether or not to change as s/he wishes and not because of some outside demand. Integration means to be accepted as “one of us”... But in Israel only one doctrine exists – of uniformity. Israeli society is ready to accept you (not to integrate but to accept) only on one condition – if you reject all you have brought with you, the things that constitute your essence; in other words, we are actually speaking of assimilation and not integration.”

This respondent’s approach regarding the second generation is slightly different:

“Your children have two choices: either they stop being your children and become the ‘children of the education system’, or they become bicultural, and that’s better than anything else: they adapt their behavior to their surroundings: they act differently with ‘the Russians’ than with the Israelis.”

From this expert’s words, we learn that control over the process of integration resides mostly in the hands of the hosts: it is they who determine the degree of the immigrant’s success (recognition of the immigrant as “one of our own”). We also learn what means are employed by the Israelis: low evaluation of immigrants’ abilities and exaggerated demands for change. For the first generation, A. I. recommends minimal integration: each sector should remain in its own social-cultural framework, with Russian culture being of equal weight to that of Hebrew culture. For the second generation, she is more ready for compromise: the children should grow up in a bicultural space.

A. M. (native Israeli, male), Director General of the Joint Distribution Committee, Israel, shares the opinion that integration is primarily the responsibility of the natives, but he softens the conflict by shifting the emphasis from cultural controversy to interpersonal relations:

“It seems to me that if an immigrant has no Israeli friends, we [that is, the host society] have failed. When integration succeeds, there will be networks of mixed friendships. Perhaps not in the closest circle, but at least in the second circle. When an immigrant meets an Israeli, the conversation between them needs to consist of more than just ‘shalom’ (The Hebrew word for ‘Hello’).”

The interviewee refers to interactions at the personal level, which accumulate and create social solidarity between the various sectors. Because of limited informal contact at the personal level, integration of the immigrants is blocked and social solidarity is impaired.

A. M. applies the same socio-psychological approach to the terror attack at the Dolphinarium Disco club in 2001, explaining:

“There were people who said that the large percentage of Russian immigrants among the victims is an indication of their social isolation.”

This quotation indicates that social integration of the young immigrants has yet to occur. They have insulated themselves within their community and have not acquired veteran friends. It is reasonable to assume that in the workplace and schools young immigrants maintain interactions with Israelis of their age, but these Israelis have not yet penetrated the immigrants' circle of close friends and the two communities spend their free time separately.

It may be observed that the facts can be interpreted in various ways: the immigrants' social isolation may be attributable to exclusion by the host society, to the immigrants' own preferences or to a combination of both reasons.

Y. K. (immigrant, male), a politician, emphasizes the individual emotional viewpoint and offers some comparative comments. It is not the objective quality of Israel that determines the ability to integrate but rather its adaptation to "my" needs and interests. To a certain extent he agrees with the opinion that integration depends more on people than on institutions:

"My definition of successful integration is the feeling that you're at home; you feel comfortable, even though there may be practical problems (employment, security)... For me, this is expressed by the fact that in Russia I didn't feel at home, because of anti-Semitism. Even now, when I visit Russia, I don't have the feeling that I'm at home. The same is true in the United States. And precisely in Israel, I do feel at home. It's my country; it is considerate of my mentality, my uniqueness, and my interests."

M. G. (native Israeli, female), Director of the Ministry of Immigrant Absorption, juxtaposes the objective-social and the psychological approaches:

"Integration consists not only of the subjective feeling of the immigrant; one also needs the perception of the hosts. Integration will be complete only when the target society recognizes the Israeliness of the immigrants."

The four experts quoted above approach the subject from three perspectives:

- The values approach (equality, free choice, and multiculturalism).
- The standpoint of personal relations between immigrants and hosts.
- The basis of the immigrants' personal welfare ("to feel comfortable").

It would appear that the immigrant-experts are more concerned with equality and less with reciprocity, while the opposite is true of the experts among the Israelis who see integration more in terms of reciprocal and not necessarily egalitarian relations. The main disagreement among the experts is about who has the chief responsibility for the success of integration: the immigrants who are obliged to adapt or the host society that must accept them as full-fledged members of Israeli society.

On the other hand, it is widely agreed that integration is a process rather than a state of affairs: changes occur in each sphere of integration, and the relative importance of these spheres also changes. In the first stages, the instrumental spheres are the most important: income, employment, housing, and basic Hebrew, whereas in the more advanced stages, the cultural, social, and political domains assume greater importance.

With the passage of time, the referential context in which the immigrants see themselves also changes; they wish not only to survive but also to regain the same social and professional status they had before migrating. In the next stage they

begin to compare their situation to that of Israelis “who resemble them” demographically and educationally. This hypothesis was advanced by Adler [1] and formulated in terms of Maslow’s [9] hierarchic model of needs. It is suggested that migration causes a shock from which ensues a temporary retreat from such “high” needs as social benefits and self-realization to basic, almost biological needs (food, housing, and security). As time in Israel increases, immigrants return to their usual level of needs. An increase in expectations demands an ongoing process of advancement, in order to maintain an optimistic outlook. This is reflected in the words of Y. K. (immigrant), a former advisor to Prime Minister Netanyahu:

“The immigrants go up to the top of the hill and think they have already reached the summit; and they still do not know that entire mountains await them. Of course, an immigrant expects of himself that he will reach the same social level to which s/he had been accustomed.”

### **Factors Facilitating Integration**

The difficulty of integration varies for different groups of immigrants. Some integrate better and more quickly than others. Our respondent-experts identified characteristics that predict smoother and more rapid integration:

– Demographic characteristics: young age, technical (rather than humanistic-cultural) profession, small but stable family, urban background, origin in one of the European republics of the CIS.

Apparently, the respondents were thinking mostly about economic-professional integration: origin in one of the European republics, for example, while easing economic mobility, does not ensure cultural-social integration. On the other hand, those coming from Asian republics feel less commitment to Russian culture (having become aware of it only during the previous generation), so they are more receptive to Israeli culture. The outbreaks of violent nationalism in most of the Asian republics starting in the late 1980s should also be taken into consideration. They have transformed immigration from these lands into an almost irreversible process, similar to Asian and African immigration during the 1950s and 1960s.

– Psychological characteristics – flexibility and willingness to change, communicative skills, an objective view of themselves, and a sense of humor.

A. M. (native Israeli, male), Director General of the Joint Distribution Committee, emphasizes:

“The ability to communicate with people, that is, the talent to build informal networks, is very important.”

S. W. (immigrant, female), Deputy Mayor of a small city, asserts that attitudes too are likely to ease integration and not only resources or abilities:

“Integration is easier for those who do not have overly high hopes, constructive people who are ready to work with the materials that life gives them.”

An important resource for integration in Israel today is the ability to improvise in all spheres of life. According to Y. K. (immigrant, male), a politician:

“Those who have experienced the capitalist reality before migrating integrate much more easily in the professional sphere.”

A similar argument is heard from L. S. (immigrant, male), responsible for immigrant absorption in a medium-sized city:

“Integration is easier for people who know how to sell.”

The above statements express the principle that the process of integration depends on harmony between the two sides: it is not only the conditions and resources provided for them by the absorbing society that influence the immigrants' ability to integrate but also the newcomers' personality characteristics. Various indicators of flexibility (young age, small family) are general factors that aid in coping with any crisis or transition.

### **Cultural Sphere: Experience and Contribution**

The cultural sphere received much attention from the experts.

H. R. (immigrant, male), journalist, fears a distortion of the immigrants' culture because of the influence of the hosts:

“When immigrants from the CIS go to concerts mostly to show off their jewelry — that will be an indication that they have already integrated into Israeli culture.”

This ironic and patronizing view of the Israeli attitude towards music applies to the affinity to culture in general: in contrast to the spirituality and universality proclaimed by the immigrants are the materialism and provincialism they attribute to the Israelis. This attitude is criticized by an Israeli expert, A. M., Director General of the Joint Distribution Committee, Israel. He tries to show understanding towards the sense of cultural superiority on the part of the Russian immigrants and also towards the natural limitations of a culture that has arisen in a small country:

“It is clear that this is what happens when immigrants from a large and sophisticated empire are brought to a small country. Perhaps it is difficult for us who have grown up inside Israeli culture to see this. We possess the superiority of belonging to the founders. The absorbing group has a tremendous advantage. They are here, they are in command of the language, and they have power. With all due respect to the attempts of the Russians to retain their special culture, they know that eventually they need to be absorbed. They also say they want to know Hebrew. There is an internal tension in such a situation: “I want to retain the original culture while at the same time I want to be an Israeli.”

For many of the CIS immigrants, the price of multicultural compromise seems very costly in terms of cultural integrity. In a multicultural reality, it is difficult to preserve the cultural level internalized in the past. There is always a contradiction between the aspiration to retain the original culture in its purist form and the need for multicultural balance.

### **Have the Immigrants Changed Due to Contact with Israeli Society or Vice Versa?**

It is easy to identify the influence of the Israeli environment on immigrants from the CIS. Most of them speak Hebrew on an instrumental level; they have overcome many practical difficulties, and their political orientation is taking shape.

M. G. (Israeli, female), Director General of the Ministry of Absorption, describes the influence of Israeli society on the immigrants in the sphere of popular culture:

“I was impressed by the extent to which CIS immigrants participate in television programs. They feel as though it is completely natural to compete with the Israelis and with other immigrants. Our policy is to initiate a large number of cultural events open to different circles of the Israeli public.”

It is more difficult to identify the influence of the immigrants on Israeli culture and society. But the respondent provides an example of such influence as well:

“I think that their contribution has been enormous, even though Israeli society is not sufficiently aware of it. How would the security, economic, and cultural aspects of Israeli society appear today if not for this wave of immigration? A concrete example of cultural cooperation is the Gesher Theater. It was the initiative of a group of immigrant actors who were “adopted” by the Ministry of Education and Culture. Today most of their performances are in Hebrew, but without a doubt, the style remains Russian.”

H. R. (immigrant, male), journalist, presents another example of the influence of the “Russians” on secular Israeli society:

“Now the Israelis are no longer irritated by the fact that the Russians celebrate New Year at the end of December. One needs to reserve place in advance in an Israeli restaurant for New Year’s Eve, and seated there, one finds Israelis. If there is Mimuna (a holiday celebrated at the last day of passover, which is not actually very connected to Judaism), why shouldn’t there be a holiday like New Year’s Eve? It is one of the elements of popular culture. The intercultural gap has decreased.”

S. W. (immigrant, female), Deputy Mayor, describes the influence of the CIS immigration in the educational sphere:

“In many localities the range of activities for children and of cultural programs for adults increased significantly. Both the supply of and demand for these activities expanded as a result of the influence of the Russian immigration.”

A. I. (immigrant), journalist, presents an example from the sphere of consumerism:

“Russians distinguish between holiday clothes and everyday clothes. For Israelis this distinction had not been significant, but the very existence of the new consumer, who wanted to buy special holiday clothes, influenced what the garment industry produced.”

In conclusion, the influences are mutual, even if not exactly symmetrical. The immigrants are integrating into Israeli society, but at the same time, they are causing changes in it. Three dimensions are discernible in these transformations: (1) the appearance of new distinctions (differentiation between holiday and everyday

clothing, between national and international holidays); (2) enrichment (additional activities and initiatives); and (3) enhanced tolerance (expansion of the range of legitimate behavior).

These transformations have suited the interests of a part of the host population who aspire to an open, more varied and free society. For example, reinforcement of multiculturalism is likely to advance the interests of all the non-hegemonic cultures, thereby paving the way for additional developments in the same direction.

### **Core Subjects**

Towards the end of the in-depth interviews, we asked the respondents to suggest three main questions that would give the most valid indication of the extent to which the new immigrant had become an inseparable part of Israeli society.

Some of the questions dealt with specific subjects:

#### *Economic-Employment*

– Are you satisfied with your income? Does your work enable self-fulfillment?  
Do you have economic and job security?

#### *Cultural*

– Are you interested in Israeli culture? Do you like Israeli music, Israeli movies, Israeli theater?

#### *Social*

– How many Hebrew-speakers do you invite to your birthday party? How many telephone numbers of Israelis are listed in your personal telephone book?

Other questions dealt with general feeling:

- Do you feel at home in Israel?
- Do you feel accepted by Israelis?
- Would you prefer to live in Israel or in some other country?
- Are you optimistic about the future of your children in Israel?
- After a soccer game between Russia and Israel you hear someone say: “Our team won.” Which is the team you think of?
- When asked: “Where are you from?” Would you respond: “from Tel Aviv” or “from Kiev?”

Some of our experts emphasized that as they saw the situation, the subjective characteristics are the most important. Still, the first set of core questions concern objective conditions: income, employment, housing, education. We suggest that the objective conditions of integration and the subjective reaction to them resemble the two blades of a pair of scissors that together cut the paper.

Objectively speaking, according to the experts’ perceptions the immigrant is at the same time both from Kiev and from Tel Aviv, but the decisive factor determining the extent of integration is how s/he defines her/himself. Something similar may be said about the Israeli and Russian soccer teams. They are both “ours”, but with which of them does the immigrant identify more? According to the experts, a decision in favor of Israel constitutes an important criterion for integration.

## Findings of the Quantitative Research

### Organization of the Criteria by Sphere (Factor Analysis)

Because of the large number and varied types of criteria, a more efficient organization of the content is called for. Factor analysis resulted in the identification of 12 spheres of integration<sup>1</sup>.

Within the two groups, the correlations between each of the spheres are positive, and most are statistically significant. Cronbach's alpha for all of the spheres is 0.83 among the Israelis and 0.78 among the immigrants.

Table lists the 12 factors. The importance of each factor is calculated according to the average importance of the items contained in it. In order to examine the differences between immigrants and veteran Israelis an independent samples t-test was conducted.

### Spheres of integration and their average importance. Means (scale 1–10, 1—a characteristic that is not needed at all and 10—a characteristic that is vital to integration), Standard Deviations, t-values

Sphere of integration (two items that were included in it)	Immigrants' Means (SD)	Israelis' Means (SD)	t (d.f.) <sup>1)</sup> (SD)
<i>Psychological integration</i> (preservation of self-respect during integration; preservation of parental authority)	8.96 (1.22)	8.56 (1.41)	**4.8 (1008)
<i>Children's schooling</i> (success of immigrants' children at school; participation of immigrants' children in extra-curricular activities, youth movements, etc.)	8.55 (1.31)	8.32 (1.51)	**2.5 (1009)
<i>Housing</i> (owning apartment; living in proximity to public transport and shopping centers)	8.23 (1.32)	7.38 (1.58)	**9.4 (1009)
<i>Preservation of socio-economic status</i> (employment that matches immigrants' qualifications; preserving immigrants' social status as it was prior to immigration)	8.17 (1.72)	7.45 (1.84)	**6.4 (1010)
<i>Basic Hebrew</i> (verbal fluency; ability to write a simple letter)	8.03 (1.82)	7.49 (1.74)	**4.8 (1009)
<i>Current socio-economic status</i> (monthly income not less than average Israeli income; job security)	7.91 (1.64)	8.05 (1.33)	-1.4 (1010)
<i>Israeli identification</i> (identification as Israeli; pride in Israeli nationality)	7.73 (1.57)	8.34 (1.45)	-6.4** (1009)
<i>Affinity to Russian culture</i> (read literature in Russian; respect for Russian culture)	7.65 (1.96)	6.06 (2.06)	**12.6 (1009)

<sup>1)</sup> Differences between immigrants and Israelis significant at  $p < .05$  (\*) or  $p < .01$  (\*\*).

<sup>1</sup> For purposes of factor analysis, the two samples were combined without weighting them according to their percentage of the population. This research decision is an expression of our hypothesis that integration is an interactive process. The two groups have equal influence on the success or failure of integration.



Sphere of integration (two items that were included in it)	Immigrants' Means	Israelis' Means (SD)	t (d.f.) (SD)
<i>Israeli culture</i> (respect for Israeli culture; consumption of Israeli culture)	7.45 (1.68)	7.55 (1.66)	-94 (1010)
<i>Social relations</i> (close friendships with Israelis; positive attitude toward Israelis)	7.30 (1.78)	8.04 (1.58)*	-7.0** (1010)
<i>Political integration</i> (understanding of Israeli politics; participation in Israeli general elections)	7.24 (2.31)	7.53 (2.02)	-2.1* (1007)
<i>Adopting Israeli life style</i> (Israeli style of clothing; Israeli names for newborn children)	5.51 (1.96)	7.14 (2.06)	-11.7** (1007)

### Differences between Immigrants and Israelis

All the spheres seem to be important or fairly important. No sphere received an average mark lower than 5: in other words, the respondents tended to be severe in their criteria for integration.

The difference in the degree of importance assigned by the immigrants vs. the Israelis was significant in ten of the twelve spheres of integration. Significant differences were not found concerning economic-employment status in Israel and integration into Israeli culture.

The most important spheres of all for the immigrants were psychological integration, education of the children, housing, retaining economic-employment status. The least important spheres of all for the immigrants were personal relations between immigrants and Israelis, political integration, and adoption of an Israeli style of life.

The Israelis attached most importance to psychological-personal integration, identification with Israel, and education of children. They attached least importance to the affinity to Russian culture and adopting an Israeli life style.

The immigrants and veteran Israelis agreed about the great importance of the psychological sphere (preserving self-respect and parental authority) and the education of children and the relatively lesser importance of adoption of an Israeli life style.

To summarize these differences in a single number, a Spearman rank order correlation was calculated for rankings of the spheres by the immigrants and the Israelis. The Spearman rank order correlation coefficient was 0.40, which denotes a moderate association between immigrants' and veterans' rankings.

### Conclusion

This study attempted to gauge what is considered a "successful" process of socio-cultural adjustment and to identify the criteria for this success. In the study we clarified whether the end point of the process, or the "ideal integration", was

perceived differently or similarly by the two sides involved. The first step in this direction was to emphasize the concept of recognition as a complement to the concept of identity. As was stated in one of the in-depth interviews: *integration can be considered to have occurred only when the target society recognizes the Israeliness of the immigrants*. This addition transforms identity into a social and even a political concept. The interaction between two groups does not relate to the abstract idea of integration (about which all agree) but rather to the direction of the process: who needs to adapt to the customs of whom and to what extent. Or, in sociological terms: what changes in identity, values, and behavior are necessary for the Israeliness of the immigrant to be recognized. On the other hand, to what changes are the immigrants ready to agree in exchange for recognition of their integration.

The findings show that a wide range of criteria are assessed as being important or at least fairly important by the immigrants and the Israelis. The range of importance varies between 5.5 and 9.5 (out of a possible 10), with the differences between the Israelis and the immigrants being mostly relative.

However, the differences that are found between the immigrants and the Israelis are not a matter of chance. The two different perceptions of the process as a whole are expressed in the importance attached to the various criteria of integration. The Israelis are more interested in the immigrants' identification with the state of Israel, personal relations between the immigrants and hosts, and the newcomers' consumption of Israeli culture, whereas the immigrants do not tend to adopt Israeli behavior patterns, and they emphasize their affinity to Russian culture.

Another important difference between the groups has to do with their perspective of time.

The Israelis tend to focus on long term criteria. They attach importance to Israeli identification, personal relations between immigrants and Israelis and adoption of Israeli life style, more than immigrants. The immigrants, in contrast, ascribe greater importance to immediate needs: housing, preservation of socio-economic status and command of basic Hebrew. These conclusions correspond to Maslow's hierarchic model of needs (1970) that were applied by Adler (1977) to the context of immigrant integration: as long as basic needs such as food, shelter and employment (which are immediate) are not met, people cannot deal with more abstract and long-term needs.

Israelis and immigrants agree on the great importance of children's success. For the Israelis it is part of their vision of long-term absorption, including the blurring of intercultural differences. For the immigrants it is the source of immediate satisfaction and pride as well, but they expect that the next generation will continue to be involved in Russian culture.

At the same time, preservation of self-respect and parental authority is greatly valued by both groups. It may be suggested that the importance attached by Israelis to the preservation of parental authority and self-respect among the immigrants reflects the understanding that this will serve to prevent the development of a culture of poverty among the immigrants.

Multiculturalism seems to have become an important factor in the study of sociocultural adjustment. In other words, the tolerance of host Israelis towards

cultural, social and psychological continuity combined with immigrants' willingness to make some of the changes required from them seem to be the major catalysts for relatively smooth sociocultural adjustment.

1. *Adler S.* (1977). Maslow's need hierarchy and the adjustment of immigrants. *Intern. Migration Rev.* 11 (4). P. 444–451.
2. *Ben-Rafael E.* *Jewish Identities: 50 Intellectuals Answer Ben-Gurion*, Leiden and Boston, Brill, 2002.
3. *Eisenstadt S. N.* (1954). *The Absorption of Immigrants*. L. : Routledge and Kegan Paul.
4. *Elias N.* (2003). *From the Former Soviet Union to Israel and Germany: The Role of Mass Media in the Social and Cultural Integration of Immigrants*. Unpublished Doctoral Dissertation. The Department of Communications, Tel-Aviv University.
5. *Feldman E.* (2003). "Russian" Israel: Between two poles. M. : Market DS. (Russian).
6. *Friedlander D., Goldscheider C.* (1979). *The population of Israel*. N. Y. : Columbia University Press.
7. *Gitelman Z.* (1995). *Immigration and identity: The resettlement and impact of Soviet immigrants on Israeli politics and society*. Los Angeles, CA : Wilstein Institute of Jewish Policy Studies.
8. *Gozman L.* (1997). Is living in Russia worthwhile // Lewin-Epstein N., Roi Y., Ritterband P. (eds.), *Russian Jews on three continents* (P. 406–415). L. : Frank Cass.
9. *Maslow A. H.* (1970). *Motivation and personality*. 2<sup>nd</sup> ed. N. Y. : Harper and Row.
10. *Remennick L.* (2007). *Russian Jews on Three Continents. Identity, Integration and Conflict*. Transaction Publishers. New Brunswick (USA), L. (UK).
11. *Remennick L.* (2003). What Does Integration Mean? Social Insertion of Russian Jewish Immigrants in Israel // *J. of Intern. Migration and Integration* Vol. 4 (1). P. 23–48.
12. *Rotenberg V.* (2000). On the Self-Definition of Jews from the Former Soviet Union Now Living in Israel. *The Jews of the Soviet Union in Transition*. 4 (19). P. 213–220.
13. *Sikron M.* (1998). "Human Capital of Immigration and Processes of Immigrants' Occupational Integration" in Sikron M. and Leshem, E. (eds.) *A Portrait of the Immigration* (P. 127–181). Jerusalem : Magness. (Hebrew).
14. *Shuval Y.* (1963). *Immigrants on the threshold*. N. Y. : Atherton Press.
15. *Simon R. J., Lynch J. P.* (1999). A comparative assessment of public opinion Toward immigrations and immigration policies // *Intern. Migration Rev.* 33 (2). P. 455–467.
16. *Sofer M., Schnell I.* (2000). The Restructuring Stages of Israeli Arab Industrial Entrepreneurship // *Environment and Planning A*. Vol. 32. P. 2231–2250.
17. *Tzaban Y.* (1997). The quandaries of an Israeli minister of absorption. In N. Lewin-Epstein, Y. Roi, & P. Ritterbrand (eds.), *Russian Jews on three continents* (P. 128–134). L. : Frank Cass.
18. *Weiss Y., Gotlibovsky M.* (1995). *Immigration, search and loss of skill*. Tel Aviv : Foerder Institute Working Paper, 34.
19. *Weber J.* (1994). Introduction. In J. Weber (ed.), *Jewish identities in the new Europe* (P. 1–32). L. : Littman Library of Jewish Civilization.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

С. Лиссица

## **ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ: РУССКИЕ ИММИГРАНТЫ И ИЗРАИЛЬТЯНЕ РАСКРЫВАЮТ ДУШУ**

Исследование фокусируется на критериях оценки успешности социокультурной адаптации иммигрантов стран СНГ в израильское общество. Цель исследования — изучить, каким образом иммигранты и хозяева определяют критерии интеграции, т. е. каким требованиям должен удовлетворять иммигрант, чтобы быть принятым в качестве полноправного члена израильского общества. Методология исследования сочетает в себе качественные и количественные методы исследования.

**Ключевые слова:** миграция, социокультурная адаптация, критерии интеграции, израильское общество.

Израиль известен как общество иммигрантов, в котором практики институциональной ассимиляции являются неотъемлемой частью культуры, экономики и политики. Однако большинство работ по иммиграции написаны с позиции ассимилирующего истеблишмента, а критерии успешности ассимиляции определялись самими исследователями. Следует расширить предмет анализа и рассмотреть не только степень успешности интеграции, но и критерии, по которым эта успешность оценивается. Потому более адекватным представляется подход к иммиграции не как к политике ассимилирующего большинства населения, а как к взаимодействию между двумя группами населения. Отсюда смена категорий: понятия «поглощение», «ассимиляция», «адаптация» и «ресоциализация» заменяются на более симметричные понятия «конфликт», «обмен», «интеграция», которые более отражают двусторонность отношений между старым и новым населением, не предполагая изначально существование некоей доминирующей культуры, чье превосходство признано всеми.

Необходимо учитывать особенности израильской иммиграции: во-первых, масштабность иммиграционного процесса (в начале 90-х гг. более 50 % израильтян были рождены не в самом Израиле); во-вторых, идеологические основания (иммиграция евреев понималась как «алийя», была вписана во все направления государственной политики и обеспечивала гражданством «на взезде»; главным же нарративом, опиравшимся на уверенность в общем культурном наследии, было возвращение домой). В сравнении с другими диаспорами уникальность русских евреев, которые религиозно, культурно и политически были отрезаны на протяжении жизни трех поколений, признавалась и до массовой иммиграции в начале 90-х гг. Но само количество перебравшихся в Израиль (около миллиона человек, почти 15 % населения Израиля), а также впечатляющий потенциал новоприбывших человеческих ресурсов (процент людей с высшим образованием в этой группе превосходил как страны СНГ, так и сам Израиль) поставили волну иммиграции русских евреев особняком. Если прибавить к этим характеристикам ощущение русскими евреями временности пребывания в Израиле, сопряженное с надеждой на исправление

ситуации в покинутой стране, и потребность Израиля в новых человеческих ресурсах для конкуренции с палестинцами, то станет понятно, почему отношения между израильтянами-«ветеранами» и иммигрантами оказались более симметричными. Также мультикультурализм, распространявшийся по миру в тот период, заместил идею «плавильного котла» и существенно преобразовал критерии интеграции.

Исследование нацелено на прояснение критериев интеграции иммигрантов и оценку значимости каждого критерия среди иммигрантов и «ветеранов». Были проведены интервью с экспертами (десять полуторачасовых интервью с ответственными чиновниками, государственными и негосударственными соработниками, журналистами и психологами), глубинные интервью с представителями обеих групп населения (15 израильтян и 15 иммигрантов) и телефонный опрос (на основании интервью были сформулированы 67 вопросов, касающихся критериев социокультурной адаптации для 510 иммигрантов и 502 израильтян).

По анализу интервью можно заключить, что эксперты подходят к вопросу успешности интеграции с трех позиций: с позиции ценностного подхода (равенство, свобода выбора и мультикультурализм соответственно; для успеха интеграции необходимо создание условий, институтов для реализации прав новоприбывших), социокультурного подхода (включенность иммигрантов в общественную и экономическую жизнь, т. е. успешно интегрированный новоприбывший начинает «чувствовать себя как дома»), межличностного подхода (включенность иммигрантов в личные отношения, признание их в качестве израильтян со стороны «ветеранов»). По-видимому, эксперты-иммигранты более озабочены равенством и меньше взаимностью, тогда как эксперты-израильтяне видят интеграцию скорее двусторонним и не обязательно уравнивающим процессом. Главное расхождение проявилось в вопросе об ответственности за успешность интеграции: иммигранты обязаны приспособливаться или принимающее общество должно гарантировать полноту прав. Однако все признают, что интеграция — это процесс, а не состояние: каждая сфера интеграции подвержена изменениям, и даже значимость самих сфер меняется. На первых этапах более важными являются инструментальные сферы (доход, занятость, жилье, базовое знание языка), на последующих стадиях культурные, социальные и политические аспекты выходят на передний план.

Уместно вспомнить пирамиду потребностей Маслоу, использованную Адлером для изучения миграции: первоначальное стремление выжить сменяется желанием достичь прежнего профессионального и общественного положения, а затем ожидания формируются уже в системе координат принявшего общества, — «ветераны» того же возраста, образования, профессии становятся референтной группой, по достижениям которых и оценивается собственный уровень успешности.

Степень адаптивности зависит от демографических характеристик (возраста, профессии, происхождения и семейного положения, а также от страны выезда, поскольку эмигранты из стран Центральной Азии, не рассчитывавшие на возможность возвращения, были более мотивированы на интеграцию)

и от психологических черт индивидов (гибкость, обучаемость, общительность, чувство юмора и др.).

Культурные ценности и сходство культурных ориентиров, по мнению экспертов, играют важную роль в интеграции. Так, русские евреи внесли существенный вклад в культурную жизнь Израиля (театр Гешер, празднование Нового года, обеспечение культурного досуга детей и взрослых, потребительские предпочтения в одежде и др.), что поставило их в более выигрышное по сравнению с другими иммигрантами положение. В результате анализа интервью экспертов можно выделить разные сферы показателей успешности интеграции: экономическая (доход, трудовая самореализация, уверенность в занятости), культурная (интерес и любовь к израильской культуре и искусству), социальная (межличностное общение с израильтянами-«ветеранами»). Таким образом, одни эксперты уделяют внимание объективным критериям, другие — субъективным оценкам иммигрантами своего положения, но для всех в центре остается вопрос самоидентификации: считают ли иммигранты себя израильтянами («если известно, что проходит футбольный матч Израиль — Россия и слышится возглас “наши победили!”, о какой команде вы подумали?»; «если вас спросят “откуда вы?”, что будет первым ответом: “Киев” или “Тель-Авив”?»). В целом для телефонного опроса было выделено 12 сфер критериев успешной интеграции.

Все сферы оказались важными для опрашиваемых, ни одна не получила оценку менее 5 (из 10). Для иммигрантов наиболее значимыми были психологическая интеграция (сохранение самоуважения и родительского авторитета), образование детей, жилье, достижение прежнего социально-профессионального положения, а наименее важными — межличностные отношения с израильтянами, политическая интеграция и принятие израильского образа жизни. Израильтяне высоко оценили личностно-психологическую интеграцию, израильскую идентификацию и образование детей.

Таким образом, отвечая на вопрос, одинаково ли представляют себе успешную интеграцию иммигранты и «ветераны», следует подчеркнуть, что идентификация и признание тесно связаны и что взаимодействие двух групп населения оценивается не по абстрактной идее успешной интеграции, но по направленности процесса: какие изменения идентичности, ценностей, поведения иммигранта необходимы для того, чтобы его признали израильтянином, и на какие изменения иммигрант готов пойти, чтобы добиться такого признания. В ходе исследования обнаружено, что различия в оценке значимости критериев интеграции не случайны. Израильтяне выделяют самоидентификацию иммигрантов, межличностные отношения и погружение в израильскую культуру, тогда как иммигранты не очень заинтересованы в принятии моделей поведения израильтян и сохраняют приверженность русской культуре. Более того, израильтяне предпочитают критерии, связанные с долговременной перспективой (идентичность, связи, образ жизни и культура), иммигранты же большую значимость придают непосредственным нуждам (жилье, достойное социально-экономическое положение и знание языка), что вполне соответствует уже упоминавшейся пирамиде потребностей Маслоу. Однако и те и другие

включили в первостепенные критерии образование детей, т. е. возможность их будущего социального роста, что вписывается и в видение долговременной интеграции израильянами, и в понимание удовлетворения непосредственных нужд иммигрантами, хотя для иммигрантов важно поддержание следующим поколением связи с русской культурой. Также обе группы придали приоритет сохранению самоуважения и родительского авторитета; для израильян предположительно это служит залогом того, что среди иммигрантов не укоренится «культура бедноты» и не разовьются агрессивные формы поведения.

Мультикультурализм, сыгравший важную роль в понимании социокультурного приспособления и выразившийся в толерантности израильян к культурным, социальным и психологическим традициям иммигрантов, при условии их готовности корректировать некоторые из сторон этого наследия, стал основным катализатором относительно безболезненного процесса социокультурной интеграции.

УДК 314.745.3–054.72 + 327(560)

Е. В. Грунт

## **ВЛИЯНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ НА РЕКОНФИГУРАЦИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ТУРЦИИ**

В статье рассматриваются основные тренды в современной культуре Турции, анализируются проблемы формирования русскоязычной диаспоры, ослабления диаспоральных связей, влияния третьей волны русских эмигрантов на изменение культуры Турции.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** миграция, волны миграции, социокультурное пространство, эмиграция, реконфигурация, Турция, диаспора.

Страны, которые объединяют не столько географическим, сколько «культурно-религиозным» понятием «мусульманские страны», до недавнего времени имели закрытый («замкнутый») тип культуры [3], длительное время развивались на своей собственной духовной основе и не имели мощных миграционных потоков. Несмотря на то что в современной Турции проживает более 94 % мусульман, в Египте — более 90 %, в Арабских Эмиратах — около 70 %, а Индонезия является самой крупной по численности мусульманской страной в мире [7], последние десятилетия свидетельствуют об изменении состава населения этих стран в результате массовой миграции. Миграционные процессы не только меняют расово-антропологическую основу этих стран, но и подрывают ее идентичность, изменяют их социокультурное пространство. Большой поток мигрантов сюда сегодня идет из России и стран СНГ. Как

отмечает посол России в Турции В. Е. Ивановский, в современной Турции проживает более 50 тыс. россиян [4]. Все это говорит о сложности и неоднозначности миграционных процессов и необходимости изучения их социологическими методами.

В 2011 г. под руководством автора статьи было проведено социологическое исследование в Турции. Методами сбора первичной информации выступили анкетный опрос эмигрантов, глубинное интервью, включенное наблюдение и анализ данных Государственного института статистики Турецкой Республики и Организации Объединенных Наций. Цель исследования — изучить влияние третьей волны русскоязычной эмиграции на реконфигурацию социокультурного пространства современной Турции. Методом анкетного опроса было опрошено 500 русскоязычных эмигрантов, методом глубинного интервью — 50 респондентов.

Прежде чем говорить о роли русскоязычных эмигрантов в преобразовании социокультурного пространства Турции, дадим их социально-демографическую характеристику. Данные исследования зафиксировали, что 98 % опрошенных, проживающих в Турции, женщины. Так как русскоязычные эмигранты проживают на значительной территории Турции, то нам не удалось опросить всех их представителей. Данные нашего исследования подтверждают мнение главы общества культуры и просвещения в Стамбуле Р. Ризаевой о том, что русская диаспора в Турции преимущественно женская. Новые русские эмигранты, прибывавшие в Турцию в течение последних 15 лет, в основном женщины, вышедшие замуж за турок [5]. Однако не стоит забывать, что это уже третья волна русской эмиграции в данной стране. Поэтому нельзя отрицать того, что среди старших возрастных групп эмигрантов присутствуют и представители мужского пола. В этом плане данные нашего исследования с определенной долей условности могут быть экстраполированы на русскоязычных эмигрантов, проживающих в современной Турции.

Подобная гендерная асимметрия может быть объяснена в первую очередь причинами переезда русскоязычных эмигрантов в эту страну. Так, главной причиной 39 % опрошенных, проживающих сегодня в Турции, указали «замужество», при этом 71 % респондентов состоят в браке с представителями турецкой культуры. Это говорит также и о том, что диаспора начинает утрачивать одну из своих важных характеристик — устойчивость этноса, которая может поддерживаться за счет заключения моноэтнических браков, что является необходимым условием, при котором диаспора сохраняется в ее идеальном виде. В итоге это приводит к изменению самой культуры Турции, о чем мы будем говорить далее.

Что касается возраста респондентов, то подавляющее большинство опрошенных нами эмигрантов являются людьми относительно молодыми. Так, возраст большинства респондентов 26–30 лет (79,6 % опрошенных), 8,2 % респондентов находятся в возрасте от 21 года до 25 лет, 12,2 % респондентов — в возрасте от 31 года до 40 лет. Большинство русскоязычных эмигрантов (86 %) приехали в Турцию из России, а 16,5 % указали на то, что прибыли сюда из таких стран, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Узбекистан. Все



опрошенные нами эмигранты отметили, что имеют высшее образование и получили его в стране, откуда приехали.

Исследование зафиксировало, что русскоязычные эмигранты — это в основном работающее население. Так, полную занятость имеют 75 % респондентов, проживающих в Турции; частичную занятость — 4 %; 21 % указали, что «не работают и не учатся» (см. рисунок).



Уровень занятости русскоязычных эмигрантов в современной Турции,  
% к числу опрошенных

Таким образом, результаты исследования говорят о высоком уровне занятости эмигрантов. Что касается сферы занятости русскоязычных эмигрантов, то можно отметить, что она довольно разнообразна (см. таблицу).

**Сфера занятости русскоязычных эмигрантов,  
% к числу опрошенных по каждой группе**

Сфера занятости	Процент к числу опрошенных
Туризм (гид, менеджер)	22,4
Торговля (продавец, менеджер)	15,3
Собственный бизнес	6
Программирование	2,4
Менеджмент	10,2
Серфинг	—
Йога	—
Модельный бизнес	5,5
Образование	3,2
Домашнее хозяйство	35

Исследование зафиксировало, что 22,4 % опрошенных занято в туристической сфере. Помимо этого 15,3 % эмигрантов занято в торговле, 10,2 % — в сфере менеджмента, 3,2 % — в образовании, 5,5 % эмигрантов занимаются модельным бизнесом, 6 % имеют свой собственный бизнес, 2,4 % — программисты. Достаточно большой процент опрошенных нами эмигрантов (35 %) — домохозяйки. Это, на наш взгляд, вполне характерно для Турции, так как здесь, как и в других мусульманских странах, женщина традиционно занимается семьей и домашним хозяйством.

Анализ данных исследования в сфере занятости русскоязычных эмигрантов позволил нам сделать вывод о том, что, поскольку большинство русскоязычных эмигрантов — работающее население, кроме того, владеющие собственным бизнесом, то уровень материального достатка эмигрантов выше среднего [2, 34–42]. Исследование также показало, что все эмигранты, приехавшие с начала 90-х гг. XX в. в Турцию (третья волна эмиграции), являются добровольными переселенцами из России и стран СНГ после распада Советского Союза и падения «железного занавеса».

Что касается двух первых волн эмиграции из России в Турцию, то их представители были вынужденными мигрантами. Причиной первой волны миграции русских в Турцию послужило поражение в Крестьянской войне К. Булавина, после которого в сентябре 1708 г. казаки-старообрядцы во главе с атаманом И. Ф. Некрасовым ушли на Кубань (Турция), с ними ушло и несколько тысяч крестьян. В Турции ими было организовано Войско Кубанское, которое сражалось на стороне Османской империи. С этого момента они стали называться «некрасовцами». «Некрасовцы» вплоть до середины XX в. сохраняли родной язык, традиции русской культуры, вступали в моноэтнические браки. В 1962 г. было принято решение об их переселении. Это связано с тем, что к этому времени молодым казакам не на ком стало жениться, так как казаки не могли заключать браки между родственниками до седьмого поколения. Так, из казаков, живших в районе Маньяса и Акшехира, 1067 человек были отправлены в Россию, а 400 эмигрантов уехали в США [1, 38–40]. Мы не должны забывать о том, что после Русско-турецкой войны 1878 г. к России отошел турецкий город Карс, который впоследствии в течение сорока лет входил в состав Российской империи. Сейчас это крупный город и центр одной из областей северо-восточной Турции, в котором живет седьмое поколение русских. Жители Карса до сих пор сохраняют русскую культуру и русский язык. Таким образом, представители первой волны русской эмиграции в Турции по своему образу жизни, быту, моноэтническим бракам и культуре продолжали оставаться людьми, практически не интегрированными в культуру принимающей страны. В то же самое время, являясь носителями ценностей и норм чужой для Турции культуры, они продолжали оставаться для нее иностранцами и, следовательно, не могли оказывать влияние на реконфигурацию социокультурного пространства Турции. С этого момента здесь начала формироваться русская диаспора.

Вторая волна миграции россиян в Турцию связана с вынужденным отъездом из России интеллигенции и остатков белой армии после Октябрьской

революции 1917 г. и Первой мировой войны. После взятия Крыма Красной армией Турция приняла основной поток мигрантов из России (беженцев и остатков армии Врангеля). Их разместили в Галлиполии. После Гражданской войны покинуло Россию и переехало в Турцию около 150 тыс. русских: 27 тыс. женщин и детей, более 100 тыс. военных и 6 тыс. больных и раненых. Стамбул стал прибежищем русскоязычных эмигрантов. Здесь они открывали аптеки и кондитерские, рестораны и кабаре. Их названия напоминали старую, российскую жизнь: «Эрмитаж», «Аркадия», «Режанс», «Стелла» и др. Были открыты гимназия и балетная школа, начали выходить русские газеты, открылся книжный магазин. Как видим, представители русскоязычной эмиграции в Турции занимались различными видами деятельности. Среди них были известные адвокаты, врачи, учителя, водители такси и пр. Безусловно, приезд русских эмигрантов оказывал влияние на различные сферы жизнедеятельности турецкого общества: экономику, культуру, социальную сферу. Наиболее существенно они повлияли на культурную жизнь Стамбула. Союз русских художников устраивал здесь выставки лучших работ. Обширной и разнообразной была русская колония артистов. Жители Турции познакомились с русской оперой, балетом и пр. [6, 24–28]. Однако исследование показало, что представители второй волны русскоязычной эмиграции, так же как и представители первой, сохраняли свою идентичность. Влияние диаспоры являлось достаточно сильным. Эмигранты говорили на русском языке, поддерживали традиции отечественной культуры, вступали в моноэтнические браки. Влияние русской культуры на культуру Турции носило лишь ознакомительный характер для жителей Турции и не могло существенным образом сказаться на реконфигурации социокультурного пространства страны.

Таким образом, две волны русских эмигрантов формировали русскую диаспору, свой образ жизни и свою культуру, проживая на территории Турции. В 20-е гг. XX в. в Турции было завершено формирование русскоязычной диаспоры.

Наше исследование показало, что только представители третьей волны русскоязычной эмиграции в Турции оказали существенное влияние на реконфигурацию ее социокультурного пространства. Для анализа этого влияния в исследовании нами выбраны следующие показатели: 1) ослабление диаспоральных связей и отношений; 2) наличие смешанных браков; 3) трансформация традиций и быта; 5) наличие национальной кухни; 6) язык; 7) религия; 8) методы воспитания в семье; 9) вопрос о сходстве и различии двух культур. Рамки статьи, к сожалению, не позволяют проанализировать все показатели, остановимся на анализе наиболее важных из них.

Как мы уже отмечали, 71 % опрошенных эмигрантов состоят в браке с представителями турецкой культуры (в смешанном браке), что, в свою очередь, приводит к трансформации традиций и быта как эмигрантов, так и местных жителей. Традиции и быт являются важным элементом культуры. Одной из традиций является праздник. Исследование зафиксировало, что самым популярным праздником для эмигрантов является Новый год. Его отмечают все опрошенные нами респонденты. Наиболее значимыми праздниками среди

русскоязычных эмигрантов также являются дни рождения членов семьи, Рождество (63,0 %), День Победы (6,0 %). Более трети русскоязычных эмигрантов отмечают все мусульманские праздники. Вместе с тем в этих семьях отмечаются и русские праздники (40,0 % опрошенных). С одной стороны, это говорит о том, что супругам, состоящим в смешанных (межнациональных) браках, приходится принимать условия обеих сторон. С другой стороны, все это свидетельствует о трансформации традиций не только русской, но и турецкой культуры.

Поскольку национальная кухня является частью культуры, то, на наш взгляд, было целесообразно оценить кулинарные вкусы и предпочтения эмигрантов. Исследование показало, что 65,0 % респондентов в равной степени предпочитает как русскую, так и турецкую кухню. Более того, в одной трети семей со смешанными браками происходит чередование приготовления блюд турецкой и русской кухни.

Важным элементом культуры является язык, на котором говорят эмигранты. Исследование зафиксировало, что 90,0 % респондентов владеет турецким языком, более 40,0 % семей говорят на двух языках — турецком и русском, что подтверждается данными глубинного интервью: «С ребенком мы каждый год ездим в Россию — навестить дедушек и бабушек. Первое время Настя говорит на турецком (но при этом хорошо знает русский язык), а спустя неделю уже свободно общается только на русском. Мой муж также неплохо говорит по-русски» (Наталья, 38 лет, продавец, Стамбул). Как отмечает глава общества культуры и просвещения Р. Рязаетова, «до начала 90-х гг. XX в. русским языком владело 5,0 % коренного населения Турции, на начало 2008 г. — около 20,0 %, а на Анталийском побережье — около 30,0 %» [5].

Исследование зафиксировало ослабление религии в культуре Турции. Говоря о религии, никто из респондентов не выделил мусульманство в качестве критерия отличия двух культур. С одной стороны, это, возможно, связано с тем, что в мультикультурном обществе традиционные институты религии теряют свое значение. К тому же представители третьей волны эмиграции прошли свою социализацию в Советском Союзе, где церковь как институт религии не играла роли в формировании личности. Поэтому, несмотря на то, что в Турции, где мусульманство является не просто официальной государственной религией, но и основой менталитета и мировоззрения людей, русскоязычные эмигранты, религиозные убеждения которых не имеют устойчивого основания, не ощущают влияния мусульманства на себе. С другой стороны, мусульманство в современной Турции сегодня уже не является столь ортодоксальным, как во времена первых двух волн российской эмиграции, и по сравнению с другими мусульманскими странами (например, Египтом, Сирией, Арабскими Эмиратами и др.) имеет более европеизированный характер: «Турция — это традиционное общество, основу которого составляет ислам, но мусульманство здесь имеет европеизированный характер» (Татьяна, 38 лет, директор туристического агентства). Исследование зафиксировало, что около трети эмигрантов принимает ислам (в основном это женщины, состоящие в смешанных браках).

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.

Русская диаспора в Турции начала свое формирование в XVIII в., окончательно сформировалась в 20-е гг. XX столетия. Представители двух первых волн русской эмиграции поддерживали формирование диаспоральных связей, сохраняли свою культурную идентичность и не оказывали влияния на изменение социокультурного пространства Турции.

Новые тренды, возникшие в культуре Турции (связанные с третьей волной русскоязычной эмиграции) — массовое изучение русского языка, заключение полиэтничных (смешанных браков русскоязычных эмигрантов с представителями местного населения), использование российско-турецких методов воспитания детей, ослабление диаспоральных связей эмигрантов и пр., — с одной стороны, приводят к утере культурной идентичности как русских эмигрантов, так и представителей турецкой культуры. С другой стороны, это свидетельствует о подрыве духовных основ турецкого общества и реконфигурации социокультурного пространства Турции.

- 
1. *Бахтин В. С.* Там, где поют русские песни // Живая старина. М., 1998. № 2. С. 38–40.
  2. *Грунт Е. В., Киммель Н. В.* Особенности русскоязычной диаспоры в мусульманских странах // Международная междисциплинарная конференция «Идентичность и миграция в меняющемся мире» в рамках конвента «Модернизация обществ и модерности». Екатеринбург, 2013. С. 34–42.
  3. *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М., 1991.
  4. Интервью посла России в Турции В. Е. Ивановского // Консул : интернет-журнал МИД РФ. 2009. № 4/19 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.turkey.mid.ru/hron/i8nt\\_1.html](http://www.turkey.mid.ru/hron/i8nt_1.html) (дата обращения: 14.09.2012).
  5. Интервью с председателем Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбуле Р. Ризаевой [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruslo.cz/articles/31/> (дата обращения: 23.08.2013).
  6. Самоунджоугли: 300 лет на чужбине донские казаки // Этносферы. М., 2008. № 5. С. 24–28.
  7. Энциклопедия Британика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.britanica.com> (дата обращения: 19.09.2013).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 347:314.745.3–054.72 + 316.6

А. С. Чесноков

## **МЕЖДУНАРОДНАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА МИГРАНТОВ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ**

Основное внимание в статье уделяется вопросу международного правового и политического регулирования прав иммигрантов, зафиксированного в наиболее известных международных соглашениях, участниками которых являются большинство стран мира. В статье рассматриваются идеологические приоритеты, положенные в основу действующих международных договоров, касающихся статуса иммигрантов. Кроме того, автор рассматривает основные проблемы, связанные с практическим применением заложенных в соответствующие конвенции принципов и норм.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** международные соглашения, иммиграция, иммиграционная политика, политические и социальные права.

Значение регулирующих иммиграцию документов, принимаемых различными межправительственными организациями, состоит в том, что они выступают своего рода юридическими и моральными ориентирами для разработки иммиграционной политики и иммиграционного законодательства отдельными государствами и их объединениями. Иными словами, в соответствующих конвенциях и декларациях фиксируются приоритеты в сфере регулирования иммиграции, основывающиеся на безусловном соблюдении норм демократического правления и прав человека. С другой стороны, разрабатывая и принимая документы, касающиеся управления иммиграционными процессами на глобальном уровне и политического статуса иммигрантов, международные организации обобщают и анализируют актуальные иммиграционные тренды и существующие практики их политического регулирования в разных странах. Тем самым они содействуют государствам в разработке единых и эффективных политических и правовых подходов к регулированию иммиграции, учитывающих как национальные интересы принимающих государств, так и права иммигрантов. В данной статье рассматриваются только те международные документы, которые непосредственно касаются политических и гражданских прав и свобод иммигрантов либо не исключают их распространение на иммигрантов. Таким образом, за рамки анализа выведены международные договоры, касающиеся трудовых, экономических и культурных прав иммигрантов, а также документы, касающиеся борьбы с различными криминальными аспектами иммиграционных процессов.

В настоящее время на международном уровне принят целый ряд договоров, касающихся политического регулирования различных аспектов иммиграции и определения политического и социально-экономического статуса иммигрантов в принимающих странах, которые имеют как обязательный (конвенции и протоколы к ним, а также пакты), так и рекомендательный (хартии, декларации, резолюции) характер для государств мира. Некоторые докумен-

ты имеют ограниченную географическую применимость, поскольку были одобрены региональными международными организациями, и их действие распространяется только на страны, входящие в эти организации, а точнее, только на те страны, которые присоединились к соответствующим договорам.

На международном уровне принят целый ряд деклараций, конвенций и протоколов, имеющих прямое отношение к определению правового статуса иммигрантов в современном мире, а также к разработке и реализации иммиграционной политики.

Первым международным договором в сфере обеспечения политических прав человека, имеющим обязательную силу для ратифицировавших его государств, стал *Международный пакт о гражданских и политических правах*, принятый ООН в 1966 г. [1]. В пакте был конкретизирован целый ряд прав человека, о которых шла речь во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Это означает, что государства обязаны гарантировать реализацию политических прав не только своим гражданам, но также и пребывающим в этих государствах негражданам (преимущественно из числа иммигрантов).

Многие государства ратифицировали пакт с различными оговорками<sup>1</sup> и заявлениями<sup>2</sup>, касающимися особенностей трактовки ими содержания тех или иных его статей и положений. Условно их можно разделить на два вида: во-первых, это оговорки и заявления, устанавливающие верховенство религиозных норм над светским правом<sup>3</sup>; во-вторых, оговорки и заявления, касающиеся утверждения исключительной компетенции национального права над международным в вопросах, касающихся особенностей правового положения иностранных граждан.

Оговорки и заявления первого вида были сделаны мусульманскими странами. Например, Мавритания заявила, что положения, зафиксированные в ст. 18 и 23 пакта, будут применяться в стране только в той мере, в какой они не противоречат исламскому шариату.

Оговорки второго вида были сделаны преимущественно западноевропейскими государствами. В частности, Австрия указала, что норма, содержащая

---

<sup>1</sup> Согласно п. d. ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 г. понятие «оговорка» означает «одностороннее заявление в любой формулировке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному государству». Оговорки позволяют государствам присоединиться к тому или иному многостороннему договору, сохраняя возможность не применять те его положения, которые являются для них неприемлемыми.

<sup>2</sup> При подписании, ратификации, принятии, утверждении договора или присоединении к нему государства имеют право делать заявления, выражающие понимание ими тех или иных его положений. От оговорок заявления отличаются тем, что они просто разъясняют позицию государства и не направлены на устранение или изменение правовых последствий договора, а значит, они не имеют юридических последствий.

<sup>3</sup> В этом отношении интересно отметить, что в *Каирской декларации о правах человека в исламе*, принятой организацией «Исламская конференция» на 19-й Исламской конференции министров иностранных дел в августе 1990 г. в Каире (Египет), в ст. 23 говорится, что «каждый имеет право участвовать прямо или косвенно в управлении делами своей страны. Он также имеет право на занятие общественных должностей в соответствии с положениями шариата».

ся в ст. 26 пакта («все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона»), не исключает практики применения разных правовых процедур по отношению к гражданам Австрии и иностранцам, проживающим в стране<sup>4</sup>.

По состоянию на декабрь 2013 г. 167 государств — членов ООН ратифицировали Международный пакт о гражданских и политических правах; это практически все страны Северной и Латинской Америки, Европы и Африки. Из семи стран, подписавших, но не ратифицировавших пакт, и 18 стран, вообще проигнорировавших его, большая часть расположена на Аравийском полуострове, в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и Карибском бассейне<sup>5</sup>.

В 1966 г. одновременно с Международным пактом о гражданских и политических правах ООН приняла *Факультативный протокол* к указанному пакту [3]. В нем содержится подробная регламентация функций и порядка осуществления полномочий Комитета ООН по правам человека, учрежденным на основании части IV Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный протокол к пакту, так же как и сам пакт, вступил в силу в 1976 г.<sup>6</sup>

Согласно пакту и Факультативному протоколу в задачи Комитета ООН по правам человека входит оценка регулярных докладов государств, ратифицировавших пакт, содержание которых касается прогресса этих стран в реализации на национальном уровне прав, признаваемых в пакте. Комитет выносит рекомендации странам — участникам пакта в области совершенствования реализации прав человека, рассматривает претензии в несоблюдении норм пакта, предъявляемые гражданином или правительством одного из государств — участников пакта к любому другому государству — участнику пакта, и высказывает мнения в связи со складывающейся ситуацией.

Важно отметить, что к Факультативному протоколу к пакту не присоединились восемь из десяти самых населенных стран мира, в которых в 2012 г. в совокупности проживало 4,12 из 7 млрд населения планеты: Индия, США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Япония, а также Китай, который не ратифицировал сам пакт, а значит, не мог присоединиться и к Факультативному протоколу к нему. Только два государства, входящие в десятку самых населенных стран мира, ратифицировали и пакт, и Факультативный протокол к нему, это Россия и Бразилия.

---

<sup>4</sup> Данные по содержанию оговорок и заявлений, сделанных различными странами при подписании/ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах см. в разделе договоров на официальном сайте ООН [2].

<sup>5</sup> Страны, подписавшие, но не ратифицировавшие пакт: Китай, Союз Коморских островов, Куба, Науру, Палау, Сан-Томе и Принсипи и Сент-Люсия. Государства, не присоединившиеся к пакту: Мьянма, Малайзия, Бутан, Сингапур, Бруней-Даруссалам, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Катар, островные государства Океании (ФШМ, Республика Маршалловы острова, Кирибати, Фиджи, Тонга, Соломоновы острова, Тувалу) и островные государства Карибского бассейна (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда).

<sup>6</sup> По состоянию на декабрь 2013 г. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах был подписан или ратифицирован 115 из 167 стран, ратифицировавших пакт (см. раздел договоров на официальном сайте ООН [2]).



В 1990 г. ООН была принята *Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей* [4]. Конвенция вступила в силу в 2003 г. после ее ратификации двадцатым по счету государством. По состоянию на декабрь 2013 г. конвенцию ратифицировали 47 и подписали (но не ратифицировали) 18 стран мира. Абсолютное большинство из этих 65 государств расположено в Латинской Америке и Африке, а также в Южной и Восточной Европе. Это свидетельствует о том, что страны, в массовом порядке экспортирующие свою рабочую силу за рубеж, рассматривают конвенцию как способ защиты своих граждан, осуществляющих трудовую деятельность по всему миру.

Пункт 1 ст. 26 и пункт 1 ст. 40 Конвенции закрепляют за трудящимися-мигрантами и членами их семей не только право принимать участие в собраниях и мероприятиях профсоюзов и любых других ассоциаций (существующих в стране приема), но и право создавать собственные ассоциации и профсоюзы в государстве работы по найму с целью защиты экономических, социальных, культурных и других интересов трудящихся.

Кроме того, в Конвенции оговаривается и объем политических прав трудящихся-мигрантов в странах приема. В частности, в п. 3 ст. 42 напрямую утверждается, что «трудящиеся-мигранты могут пользоваться политическими правами в государстве работы по найму, если это государство в осуществление своего суверенитета предоставляет им такие права». Кроме того, пп. 1 и 2 ст. 42 конвенции предусматривают возможность учреждения консультативно-совещательных структур при органах власти принимающих стран, посредством которых трудящиеся-мигранты могли бы доносить до лиц, принимающих политические решения, свои «особые нужды и чаяния» и тем самым принимали бы участие в «жизни и управлении местными общинами».

Конвенция устанавливает необходимость уделения должного внимания социальным, экономическим, культурным и другим нуждам и потребностям трудящихся-мигрантов и членов их семей со стороны принимающих государств (ст. 64). В этом отношении государствам — участникам конвенции предписывается учреждение «соответствующих служб по вопросам, касающимся международной миграции трудящихся и членов их семей, в функции которых должна входить разработка и осуществление политики, касающейся такой миграции» (ст. 65). Несмотря на то что, в соответствии со ст. 72 конвенции был создан Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей для мониторинга и контроля за соблюдением конвенции государствами, ее подписавшими, в ст. 79 подчеркивается, что за каждым государством — участником конвенции сохраняется полное и суверенное право устанавливать критерии допуска на свою территорию трудящихся-мигрантов и членов их семей. Также следует иметь в виду, что в некоторых странах процедуре получения разрешения на работу предшествует процедура получения вида на жительство.

Наконец, еще одним существенным международным документом, касающимся социально-политических прав иммигрантов и неграждан, является *Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами*

страны, в которой они проживают<sup>7</sup>. Декларации, принимаемые ООН, в отличие от конвенций, не являются обязательными к исполнению и представляют собой своего рода констатацию добровольного намерения мирового сообщества предпринять определенные шаги в той или иной сфере мировой политики. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, начинается с подтверждения того факта, что сфера регулирования правового положения иностранцев в принимающих странах целиком и полностью находится в сфере компетенции соответствующих стран. Вместе с тем государства обязаны выстраивать свое законодательство в области регулирования миграции в соответствии с международным правом прав человека и принятыми на себя международными обязательствами (п. 1 ст. 2). Статья 4 требует, чтобы иностранцы не только соблюдали местные законы, но и уважали местные традиции и обычаи. За иностранцами признается право на свободное выражение своего мнения, право на мирные собрания (ст. 5), а также право вступать в профессиональные союзы и другие организации или ассоциации по своему выбору и участвовать в их деятельности (ст. 8).

Комиссия по правам человека ООН начиная с середины 1980-х гг. неоднократно подчеркивала в своих рекомендациях, что при применении международных инструментов (конвенции, протоколы и декларации) по защите прав человека не должно проводиться разделение на граждан и иностранцев [5]. Одним из направлений деятельности Комиссии по правам человека является мониторинг защиты прав мигрантов (преимущественно трудовых). Мониторинг осуществляет специальный докладчик по правам человека мигрантов<sup>8</sup>, который готовит для Комиссии по правам человека ООН (с 2006 г. — Совета по правам человека) ежегодный доклад, а также доклады по конкретным странам (после краткосрочных визитов).

На очередном заседании Совета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся в 2008 г., были подтверждены приоритетные направления деятельности ООН в области содействия полной интеграции мигрантов в принимающих странах и создания в этих странах атмосферы согласия и терпимости. Было также подчеркнуто, что, несмотря на то что ООН полностью признает суверенные права органов власти каждой страны на принятие и осуществление миграционных мер и мер по охране государственных границ, все страны обязаны соблюдать взятые на себя обязательства по международному праву, в том числе в области защиты прав человека, тем более что большая их часть применяется без различия между гражданами и иностранцами<sup>9</sup>.

Политическое регулирование миграционных процессов во многом осуществляется посредством защиты и обеспечения гражданских и политических

<sup>7</sup> Утверждена Резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г.

<sup>8</sup> Мандат Специального Докладчика по правам человека мигрантов был учрежден Комиссией по правам человека в 1999 г. в соответствии с Резолюцией № 1999/44.

<sup>9</sup> См.: Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие / Совет по правам человека; Генеральная Ассамблея ООН. Девятая сессия. Пункт 3 повестки дня. A/HRC/9/L.14. 18 Sept. 2008.

прав иммигрантов. Политическое регулирование происходит как на глобальном, так и на макрорегиональном уровне. При этом в каждом макрорегионе существует своя собственная миграционная система, имеющая ряд особенностей, находящихся отражение как в динамике и направлениях иммиграционных трендов, так и в документах, определяющих политическую практику регулирования иммиграционных процессов.

Исходя из изложенного, представляется возможным выделить пять ключевых особенностей, характеризующих идеологические приоритеты и нормативные основы современной международной иммиграционной политики.

Во-первых, разрабатывая и принимая документы, касающиеся управления иммиграционными процессами на глобальном уровне и политического статуса иммигрантов, международные организации обобщают и анализируют актуальные иммиграционные тренды и существующие практики их политического регулирования в разных странах и тем самым содействуют государствам в разработке единых и эффективных политических и правовых подходов к регулированию иммиграции, учитывающих как национальные интересы принимающих государств, так и права иммигрантов. Вместе с тем обилие оговорок при присоединении государств к тому или иному соглашению (или его ратификации) свидетельствует о том, что проблема иммиграции в мировой политической повестке, с одной стороны, секьюритизирована, а с другой — помещена в контекст традиционно-патриархальной, а не мультикультурно-постмодернистской идеологии.

Во-вторых, наибольшее внимание к проблемам реализации и защиты, прежде всего через механизм принятия соответствующих международных договоров, гражданских и политических прав иммигрантов, уделяется в Европе, в то время как во всех остальных регионах мира, включая Северную Америку, эта тема либо вообще не поднимается, либо отражена в актуальной политической повестке крайне слабо.

В-третьих, вопросы необходимости и условий предоставления политических и гражданских прав иммигрантам, как правило, оставляются мировым сообществом и международным правом на усмотрение конкретных государств. Вместе с тем во многих международных договорах за иммигрантами закреплен широкий спектр прав, в числе которых — право иметь и высказывать свои политические убеждения, заниматься общественной работой, проводить собрания, вступать в ассоциации и профсоюзы и т. п.

В-четвертых, некоторыми международными договорами предусматривается создание различных институтов, ответственных за мониторинг соблюдения прав человека применительно к трансграничным мигрантам, либо судебных органов, осуществляющих функции правосудия, в случаях нарушения органами власти принимающих стран прав иммигрантов. Сфера компетенции таких институтов и органов обычно охватывает только культурные, социальные и экономические, но не политические права мигрантов.

В-пятых, международные соглашения в области регулирования политических прав иммигрантов опираются преимущественно на либеральные представления о правах человека и демократическом правлении, которые, в свою

очередь, являются продуктом западноевропейской интеллектуальной, социально-политической и правовой традиции. Принятые на уровне ООН документы о политическом и правовом статусе иммигрантов в принимающих государствах отражают ценности глобализма и транснационализма, мультикультурализма и космополитизма и подчеркивают равный правовой статус всех индивидов вне зависимости от гражданства.

---

1. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. Вступил в силу 23 марта 1976 г. после ратификации пакта 35-м по счету государством [Электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org/russian/document/convents/pactpol.htm> (дата обращения: 23.12.2013).

2. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: [http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en) (дата обращения: 23.12.2013).

3. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pactpro1.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml) (дата обращения: 23.12.2013).

4. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г. Вступила в силу в 2003 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org/russian/document/convents/migrant.htm> (дата обращения: 23.12.2013).

5. The International Convention on Migrant Workers and its Committee. Fact Sheet No. 24 (Rev.1). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations. N. Y. ; Geneva, 2005. P. 12.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

# КОНФЕРЕНЦИЯ

## «СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ПСИХОЛОГИИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ»

УДК 378.1:347 + 316.612

**Р. Р. Муслумов**

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАВОВЫХ УСТАНОВОК СТУДЕНТОВ ВУЗА**

В статье рассмотрена роль правовых установок в поведении личности, определен уровень основных компонентов правовых установок студентов, показана их взаимосвязь в развитии правосознания.

**Ключевые слова:** диагностика, правосознание, правовые установки, знание права, отношение к праву, криминальная чувствительность, правовые ценности.

Проблема личности и права — одна из важнейших в современной науке. Задачи построения правового государства в России предъявляют высокие требования к правовой активности личности, ее участию в решении правовых вопросов, укреплению законности и правопорядка, готовности противодействовать правонарушениям. С правовой установкой связаны отношения личности к праву, его принципам, институтам, нормам, к окружающему миру. В совместной деятельности, в учебных, производственных коллективах правовые установки могут быть положены в основу системы групповых ценностей, могут определять иерархию участников группы и характер межличностных взаимоотношений [2, 164].

Правовые установки, ориентации реализуются в правовой активности личности, ее правомерном или противоправном поведении. Необходимость изучения правовых установок студентов обусловлена не только социальными интересами, но и целями развития духовного мира, так как правовые установки выступают важнейшей составляющей культуры личности. Актуальность нашего исследования определяется наличием противоречия между провозглашенными и реализуемыми на практике принципами правового государства, с одной стороны, и низким уровнем правового сознания студентов — с другой.

Правовые установки являются объектом изучения ряда наук, в том числе юриспруденции, философии, социологии, педагогики, психологии. Высоко оценивая значимость имеющихся в науке исследований в области установок личности, следует отметить, что проблема правовых установок студентов не получила должного внимания в педагогической психологии. Одним из самых серьезных затруднений в изучении правовых установок является чрезвычайно слабая разработанность четких экспериментальных процедур, позволяющих их диагностировать. Цель данного исследования — выявить современные особенности правовых поведенческих установок российских студентов. Задачи исследования: 1) ввести в контекст анализа понятие «установка» в его собственно психологическом смысле; 2) операционализировать это понятие и тем самым сделать правовую установку рабочим конструктом; 3) провести психологическую диагностику правовых установок студентов вуза.

Установка — это психологическое состояние предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. Впервые данный психологический феномен был рассмотрен немецким психологом Л. Ланге (1888). Как общепсихологическая теория установки разработана Д. Н. Узнадзе на основе его многочисленных экспериментальных исследований [8]. Правовые установки являются разновидностью социальных установок. В английском языке социальной установке соответствует понятие «аттитюд», введенное в 1918 г. социологами У. Томасом и Ф. Знанецким. В своей работе «Польский крестьянин в Европе и в Америке» они определяли аттитюд как состояние сознания, регулирующее отношение и поведение человека в связи с определенным объектом в определенных условиях, и психологическое переживание человеком социальной ценности, смысла объекта. По их убеждению, исследование взаимоотношений личности и общества должно основываться на анализе социальных ценностей самого общества и отношения к ним со стороны индивидов, и только с этих позиций можно объяснить их социальное поведение. Социальная установка функционирует одновременно и как элемент психологической структуры личности, и как элемент социальной структуры.

В психологическом словаре И. М. Кондакова установка определяется «как свойство деятельности, выраженное психологической готовностью в определенных условиях действовать определенным образом» [3, 623]. С точки зрения Л. Д. Столяренко, под установкой понимается «сформированная на основе прошлого опыта предрасположенность воспринимать и оценивать какой-либо объект определенным образом и готовность действовать в отношении его в соответствии с этой оценкой» [6, 55]. Когда объектом установки становятся различные правовые ценности, речь идет о правовых установках. Правовая установка личности — содержательно-динамический (поведенческий) компонент правосознания личности, выражающий предрасположенность и готовность личности к совершению правового поведения определенного вида.

М. Смит еще в 1942 г. выделил следующие основные компоненты социальной установки: когнитивный, содержащий знание, представление о социальном объекте; аффективный, отражающий эмоционально-оценочное отно-

шение к объекту; и конативный (поведенческий), выражающий потенциальную готовность личности реализовать определенное поведение по отношению к объекту. Таким образом, структура правовой установки включает: 1) когнитивный компонент, содержащий знание правовых норм; 2) аффективный, отражающий эмоционально-оценочное отношение к праву (его принципам, институтам и нормам; к правовому поведению людей, в том числе к преступности; к правоохранительным органам и их деятельности; к собственному правовому поведению, т. е. правовая самооценка); 3) поведенческий, выражающий готовность личности на определенное поведение в сфере правовых отношений.

Реальное правовое поведение, соответствующее когнитивному и аффективному компонентам данной установки, зависит от ситуации и взаимодействия с другими аттитюдами.

**Методика исследования.** Для оценки правовой информированности студентов был составлен *авторский тест «Исследование когнитивного компонента правового сознания студентов»*, содержащий вопросы по общей теории государства и права, по разным отраслям права [5, 221].

Для характеристики понимания студентами основных правовых принципов и категорий использовался *письменный опрос «Понятийный словарь»*. Студентам было предложено раскрыть содержание основных правовых принципов и правовых категорий, выделив наиболее существенные их признаки. В исследовании рассматривались лишь всеобщие принципы права, закрепленные и действующие в правовой системе России: законность, гуманизм, демократизм, справедливость, гласность, неприкосновенность личности в сфере ее жизнедеятельности, ответственность за вину. При опросе выяснялось также понимание студентами таких категорий, как «право», «закон», «правовое государство», «правомерное поведение», «правонарушение», «правовая культура», «правопорядок».

В качестве метода сбора информации применялась также *анкета «Студент и право»*, которая позволяет выявить общее отношение студентов к закону, наказаниям, нарушениям прав человека [Там же, 230]. Нас интересовала также «криминальная чувствительность» студентов, которая позволяет дифференцировать социальную среду и выделять из нее явления с характерными признаками криминальности. Криминальная чувствительность — это способность субъекта осознавать наличие конкретных криминальных явлений в обществе. В анкете предлагалось выбрать тот или иной вариант действия в заданной воображаемой, но достаточно конкретной ситуации.

С целью исследования эмоционально-оценочного отношения студентов к праву и их правовых установок был разработан авторский *тест-вопросник «Измерение отношения к праву и правовых установок студентов»* [Там же, 247]. Методика состоит из 35 утверждений и предложенных вариантов ответа. Основная (суммарная) шкала подразделяется на две субшкалы — шкалу отношения студентов к праву и шкалу правовых установок. Методика позволяет вычислить средний коэффициент солидарности и коэффициент интернализации. Валидность методики осуществлялась путем сопоставления с результа-

тами, полученными по «Методике выявления психолого-педагогической характеристики личности студента» Л. Д. Столяренко [7].

Существенную помощь в сборе материала оказал проводимый автором спецкурс «Психология правового воспитания личности» [4]. В проведении спецкурса широко использовался интерактивный метод. Практически все участники спецкурса во время практических занятий имели возможность через организованное взаимодействие приобретать новые знания, рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. В ходе диалога они учились критически мыслить, решать сложные правовые проблемы на основе анализа обстоятельств, взвешивать альтернативные мнения, что позволяло получать не только новые знания, но и развивало саму познавательную деятельность.

При определении уровней правосознания использовались коэффициенты правовой осведомленности, солидарности, интернализации. Позитивные изменения объема и содержания правовых знаний, умений, навыков и понимания правовой действительности студентами выражались коэффициентом правовой осведомленности. Отношения студентов к праву, к правоохранительным органам находят отражение в коэффициенте солидарности, согласия с правом. Сформированность определенных правовых установок, степень включенности правовых предписаний в ценностные ориентации личности определяются коэффициентом интернализации (усвоения).

Коэффициент правовой осведомленности определялся суммой всех неверных решений и ответов «не знаю», поделенной на произведение общего количества заданных вопросов (заданий) и числа опрошенных в данной группе. Идеальная осведомленность (при нулевом числе неверных ответов и решений) равна единице. Средний коэффициент осведомленности в группе исчисляется по формуле

$$K_o = 1 - \frac{(P + q)}{ns},$$

где  $P$  — число неверных решений;  $q$  — число ответов «не знаю»;  $n$  — общее число вопросов и заданий;  $s$  — число опрошенных в группе [6, 58]. По этой же формуле были рассчитаны коэффициент солидарности, согласия с правом ( $K_c$ ), а также коэффициент интернализации (усвоения) ( $K_{и}$ ).

На этапе диагностики правовых установок студентов объем выборки определялся при доверительной вероятности  $p = 0,95$ . В целом выборка студентов составила 180 человек.

**Результаты исследования.** Согласно полученным данным тестирования коэффициент знания права или коэффициент осведомленности ( $K_o$ ) студентов равняется 0,33. Наблюдается более высокий уровень знания конституционного, трудового и уголовного права, значительно меньший — норм административного и гражданского права, хуже всего студенты знают гражданско-процессуальное право, они слабо осведомлены о законных путях защиты своих прав и интересов. Правовая подготовка студентов не исчерпывается их формальными юридическими знаниями. Можно обладать знаниями, но не уметь



ими пользоваться, поэтому необходимо учитывать степень практического владения этими знаниями. Сами студенты (89,7 %) отмечают, что они не обладают достаточными умениями использовать свои правовые знания на практике.

Подавляющее большинство студентов (81,9 %) «законы уважают», и в то же время 6,4 % студентов считают, что законы «часто не отражают действительности»; 6,7 % студентов находят законы несправедливыми; 3,3 % студентов считают, что «в знании законов нет необходимости», проявляя к закону незрелое отношение как к явлению якобы постороннему, далекому и не повседневному; 1,7 % — затруднились определить свое отношение к существующим законам. Наибольшее распространение среди студентов имеет активно-позитивное отношение к законам; 92,8 % студентов находят, что «законы необходимо знать каждому человеку», чтобы открыть свое дело, заняться предпринимательством, преодолевать конфликты между людьми, совершенствовать порядок в обществе, защищать свои права.

Более 60 % студентов оценивают право с позиций нормативного регулирования поведения и порядка, связывая ценность права со стабильным существованием в обществе. Они рассматривают право только как систему юридических норм (нормативное, или так называемое узкое понимание права); 11,9 % респондентов отождествляют право с регулируемым им общественными отношениями; и только каждый десятый связывает право с мерой свободы и справедливости. Одновременно с этим высока инструментализация права, студенты рассматривают право как возможность решения проблем и защищенности личности. При этом выделилась небольшая группа студентов (6,9 %), ошибочно считающая, что право всемерно, что хорошие законы способны решить все проблемы общества без участия граждан, что право защищает законные интересы автоматически.

Студенты признают важность проблемы прав человека. Подавляющее большинство студентов (95,8 %) убеждены, что правовое общество не может быть построено, если в нем не соблюдаются права человека. Большая часть студентов в целом по выборочной совокупности (65 %) указывают на то, что их права в обществе «соблюдаются всегда или чаще всего»; 86,1 % студентов считают, что их права в учебном заведении соблюдаются «всегда или чаще всего». Когда студентам предлагалось указать, какие именно их права нарушаются в учебном заведении, были указаны авторитарность в выборе факультативных курсов, платное обучение, обязательное посещение лекций. При анализе ответов студентов выяснилось, что студенты не только ориентируются в своих правах, но знают и обязанности: каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы (77,5 % опрошенных), сохранять природу и окружающую среду (86,7 %), защищать свою родину (89,2 %) и др.

Как показало исследование, студенты видят отрицательное влияние преступности на благополучие и благосостояние граждан. Студенты оценивают ущерб, наносимый преступностью личности, обществу и государству, как значительный. Негативное воздействие преступности на общество не отрицает никто. Для более компетентного суждения о правосознании студентов им было

предложено оценить санкции различных видов правонарушений. Полученные данные мы сравнивали с санкциями, предусмотренными уголовно-правовыми нормами. В целом по отношению к преступлениям студенты занимают однозначно осуждающую позицию, требуют строгого наказания преступников, но эта позиция не всегда находит отражение по отношению к конкретным преступлениям. Имеются преступления, по отношению к которым они занимают внутренне противоречивую позицию. Установлено, что наряду с преобладанием правильной оценки правовых явлений имеет место недооценка того, насколько опасны для общества некоторые преступные проявления, в частности, преступления в сфере экономической деятельности: незаконное предпринимательство, злостное уклонение от погашения кредитной задолженности, незаконное использование товарного знака, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и др.

Определенную терпимость студенты проявили к преступлениям в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации; нарушение правил эксплуатации ЭВМ; создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Зачастую студенты недооценивают социальную опасность недисциплинированности, отсутствия ответственности за безопасность окружающих и сохранность материальных ценностей и ресурсов, что может служить субъективным источником преступлений такого вида.

Важной характеристикой правового сознания студентов является их отношение к правоохранительным органам. Более половины опрошенных студентов затрудняются ответить на вопрос, сообщили ли бы они в полицию о преступлении, оказавшись его свидетелем. Каждый третий — сообщил бы, а каждый десятый — не сообщил бы, объясняя свою пассивность следующими причинами: «затаскают по судам», «страх перед преступником», «все равно не будет справедливого наказания» и т. д. Наше исследование показало, что студенты, несмотря на недостатки в деятельности правоохранительных органов, в деле защиты своих прав готовы законным путем добиваться справедливости и решения своих проблем. В своем поведении они намерены ориентироваться на закон: в ответах на вопросы, выявляющие уровень склонности к рискованному поведению или нарушению закона и сформулированные в форме проективных ситуаций, студенты в большинстве случаев (83,9 %) выбирают правомерный вариант, их ответы свидетельствуют о том, что правильным поведением они считают правомерное.

Важнейшей характеристикой индивидуального правосознания является отношение к выполнению общественного долга, в частности, к участию в борьбе с преступностью, изобличении преступников. Как свидетельствуют данные, большинство (65 %) студентов ответили, что готовы оказать помощь полиции, но «в определенных случаях»; 18,9 % — «безусловно, готовы»; 15 % — «совершенно не готовы»; 1,1 % — затруднились ответить. Помощь они видят в работе на общественных началах и внештатными сотрудниками.

Для исследования эмоционально-оценочного отношения студентов к праву и поведенческого компонента использовался также авторский тест — воп-

росник «Измерение отношения к праву и правовых установок студентов». В соответствии с ключом теста-вопросника были подсчитаны показатели субшкал: 1) отношение к праву; 2) правовые установки. Затем вычислены средние коэффициенты: согласия с правом ( $K_c$ ) — 0,64; интернализации ( $K_{и}$ ) — 0,58; осведомленности права ( $K_o$ ) — 0,33.

Данные дают представление о своеобразной настройке всей структуры правовых установок студентов. Когнитивный компонент, характеризуя уровень знания правовых норм, свидетельствует, что большая часть студентов правовые нормы не знает. Коэффициент солидарности выражает степень одобрения студентами требований правовых норм, проявляется в отношении к правам других людей, характеризует их правовые эмоции и чувства. Данные исследования показывают, что коэффициент солидарности выше, чем коэффициент знания права; скорее всего, это результат влияния жизненного опыта студентов и в целом воспитания.

Для установления статистической связи между знанием права, отношением к праву и поведенческим компонентом был проведен анализ многомерных корреляционных связей [1, 245–249]. Коэффициент множественной корреляции позволяет оценить тесноту линейной связи каждой из переменных с двумя остальными, например, знания права с отношением к праву и поведенческим компонентом, и пр. Вычисление коэффициентов множественной корреляции базировалось на коэффициентах линейной корреляции Пирсона между переменными. Для вычисления коэффициентов использовались соответствующие формулы [Там же, 245–246].

В результате расчетов были получены величины коэффициентов:

$$r_{z(o,y)} = 0,793; r_{o(z,y)} = 0,895; r_{y(z,o)} = 0,947 \text{ (при } t_{кр} = \begin{cases} 0,11 & \text{для } p \leq 0,05 \\ 0,15 & \text{для } p \leq 0,01 \end{cases} \text{)}$$

Таким образом, оцениваемые компоненты правовых установок — знание права, отношение к праву и поведенческий компонент — оказывают существенное влияние друг на друга: выступают единым комплексом и в очень большой степени необходимы для успешности развития правового сознания студентов. Следовательно, важнейшей проблемой развития правосознания студентов является не только усвоение студентами правовой информации, но и главным образом влияние на механизм того, как правовые предписания реализуются в действительности. В этом механизме внутренняя активность личности трансформируется во внешнюю деятельность, проявляется в готовности личности осудить правонарушение, пресечь противоправный поступок, реализовать правовые предписания, защитить свои права. Иначе говоря, в развитии правового сознания студентов существенную роль играет не только интернализация правовых норм личностью, но и экстернализация, т. е. претворение правовых норм личностью в действительность.

**Выводы.** Результаты эмпирического исследования свидетельствуют, что проблема повышения уровня правосознания студентов решается недостаточно последовательно. Студенты понимают, что жизнь в правовом государстве требует не только знания правовых норм, но и их реализации, однако они

недостаточно информированы в правовом отношении, имеют невысокий уровень правовых умений, навыков применять правовые знания на практике.

Преобладающим мотивом воздержания студентов от правонарушений является принципиальное позитивное отношение к закону. И в то же время зачастую студенты недооценивают социальную опасность недисциплинированности, отсутствие ответственности за безопасность окружающих и сохранность материальных ценностей и ресурсов, что может служить субъективным источником преступлений такого вида.

Основные компоненты правовой установки (знание права, отношение к праву и поведенческий компонент) оказывают существенное влияние друг на друга, выступают единым комплексом, и каждый из них в значительной степени необходим для успешности развития правового сознания студентов.

---

1. *Ермолаев О. Ю.* Математическая статистика для психологов : учеб. 2-е изд., испр. М., 2003.

2. *Злоказов К. В.* Организационно-групповая идентичность участников служебных коллективов // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та МВД России. 2013. № 3 (59). С. 163–170.

3. *Кондаков И. М.* Психология : иллюстрир. слов. 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2007.

4. *Муслумов Р. Р.* Правовое сознание личности : учеб. пособие. Екатеринбург, 2013.

5. *Муслумов Р. Р.* Психолого-педагогические условия развития правового сознания будущих учителей : дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург. 2009.

6. Прикладная юридическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. А. М. Столяренко. М., 2001.

7. *Столяренко Л. Д.* Педагогическая психология. Изд. 4-е. Ростов н/Д, 2003.

8. *Узнадзе Д. Н.* Психологические исследования. М., 1966.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СТЫКИ МОДЕРНОСТИ:  
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  
СУБЪЕКТИВНОСТИ И ДИСКУРСЫ  
В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

УДК 327.51(1-11) + 327.57(5-015)

**Ch. Pierobon**

**THE EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA:  
A NEW CONCEPT OF DEMOCRACY ASSISTANCE?**

From the 1990s onwards, Central Asia has been the target of numerous projects and initiatives on behalf of Western states and international institutions. Most of the initiatives of Western donors were focused on the strengthening of civil society by using an instrumental approach. In their action, international donors were misled by their own experience and interpretation of Western civil society. In so doing, they overlooked two very important aspects: firstly, modern Western society took two centuries to evolve; secondly, they were operating in a different social, economic, political and cultural context. Since 2006, a new concept of democracy assistance was implemented by Western donors; a pivotal role was assigned to 'community development' on the grassroots level. The paper examines the ways in which, through its new forms of engagement in Central Asia, the EU is trying to overcome the pitfalls and limitations of the Western-oriented approach in the region, promoting the creation of a genuine and effective civil society.

*Key words:* EU, Central Asia, democracy assistance.

**1. Introduction: the Western-centric theoretical framework  
in the “Post-soviet social”**

As pointed out by Youngs, the third wave of democratization taking place between 1974 and 1990 leads to a “teleological optimism in democracy’s propensity to inexorable expansion” [15, 1]. Western culture grounded in citizenship, statehood, education, individual rights was seen as characterized by a mutually reinforcing and expansive nature. Western “norms and institutions were taken for granted in contemporary life” and “no source of instability, conflict, or opposition to the progressive expansion of [Western] world culture” was foreseen [11, 343].

From the 1990s onwards, Western countries translated this teleological and Western-centric view of political development into democracy assistance programs and strategies based on certain “self-confidence about one’s own systemic superiority” [2, 9].

One of the main strategies in the development agenda was the promotion and strengthening of civil society conceived as a “realm of organized intermediary groups that are voluntary, self-generating, independent from the state and the family and bound by a legal order or set of shared rules” able to build “pressure for democratic transition and pushing it through its completion” [5, XXX]. In particular, international donors leaned towards a neo-liberal version of civil society made up by non-governmental organizations (NGOs) and other private and non-profit organizations able to oppose the state and to foster economic reforms and liberalism of social service provisions. This form of neo-liberal civil society had briefly emerged also in soviet context between the end of the 1980s and the beginning of the 1990s and was represented by the dissident movements and their social and political engagement against the soviet system (see for example, the Velvet Revolution).

In the course of the 1990s, Western countries invested millions of dollars in the development of civil society in Central Asia through the creation and financing of several Western-style NGOs, considered as the building blocks of civil society itself.

Altogether, two major problems emerged from the democracy assistance strategy implemented: firstly, a problem of sustainability of these groups which tend to disappear once the financial aid has expired; secondly, a tendency of the financed NGOs to be more connected with the international community than with the domestic one. In particular, these organizations were focused on problems and activities able to attract international visibility and consensus instead of addressing issues which could have had an impact on the local and national community. In this way, they became increasingly disengaged from national politics and were not effective in the creation of a civil dialogue with the local population, authorities and central government [14, 157–161]. As a result, the strategy was neither successful in the spread of a new democratic political culture nor able to affect the policy-making process.

The main weakness of this Western-based approach was its overlooking of the social, economic and cultural complexity of Central Asia where “several values and norms exist parallel to one another as the Soviet heritage, regionalism, clientelism and tribal affiliation” [2, 12] as well as of the importance of “the cultural dimension of authority and [of] the political community structures” [12, 25]. Indeed, in their action, international donors used Western civil society as a model, as a “ready-made, compulsory blueprint for reform to be implemented in ‘oriental’ society, in the span of one generation” [13, 1005] ignoring that Western civil society has taken more than two hundred years to evolve in its current form and that Central Asia still lacks the democratic culture which could allow such a civil society model to thrive. At the same time, international donors failed to consider another more indigenous version of civil society which has existed in the region since pre-soviet time and is based on traditions of reciprocal helping and local processes of decision

making. This more communal form of civil society is described by Babajanian, Freizer and Stevens as “a sphere of social interaction where people come together on a voluntary basis along interest lines, to exchange information, deliberate about collective action, and define public opinion” [1, 213], able to sustain community organizing, stability and solidarity<sup>1</sup>.

Aware of the pitfalls and limitations coming from the previous democracy promotion strategies, since the late 1990s Western donors have been engaged in a renewed effort focused on “community development” through a participatory approach involving local actors. A particular attention has been given to the local context, institutions and structures, where these initiatives are carried out. This applies also for the European Union which, since 2007, has implemented a new concept of democracy promotion especially through the thematic program “Non-state actors and Local Authorities in Development” and the “European Instrument for Democracy and Human Rights” (EIDHR), assigning a pivotal role to “community development” initiatives on the grassroots level.

The paper aims at a descriptive analysis of the main official documents underpinning the new EU strategy in the field of democracy promotion in Central Asia. The sample of documents includes the “Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide” (2006) [10], the “Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007–2013” (2007) [9], the “Joint Progress Report by the Council and the European Commission to the European Council on the implementation of the EU-Central Asia Strategy” (2008) [7], “The European Union and Central Asia: the New partnership in Action” (2009), the “Thematic Program Non-State Actors and Local Authorities in development. 2011–2013 Strategy Paper” (2012) [8].

Three main issues have been identified that lead to a logical progression through the analysis. Firstly, I will investigate the foundation of EU engagement in the field of democracy and the principles guiding its action. In particular, I will address the question whether the EU strategy is still “characterized by certain self-confidence about its own systemic superiority”. Secondly, I will explore the ways in which democracy is defined and how civil society is conceptualized; in particular, I will focus on the relationship existing between democracy and civil society according to the selected documents. Finally, I will look at the ways in which the national and local contexts are taken into consideration in the new EU development agenda and at how community development and participatory approach are conceived.

## 2. The EU Strategy for a New Partnership with Central Asia

In 2007, the European Community has introduced a *Strategy for a New Partnership with Central Asia*. A total of 750 million EUR was assigned to the region for the period 2007–2013 under the Development Cooperation Instrument

---

<sup>1</sup> See, for instance, the practice of *ashar*, defined by Earle as “a pre-Soviet form of collective voluntary work, in which groups of people were mobilized to provide assistance of family and neighbors” [6, 251].

(DCI) for initiatives both at bilateral and at regional level. Noteworthy, the EU's bilateral relations are built upon Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) which are based on three pillars: political dialogue, trade and economic relations and cooperation in a variety of sectors. As stated in the *European Community Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007–2013*, these three pillar are grounded in “common values of respect for human rights, democracy and the rule of law and include commitments to align their respective legal frameworks with that of the EU” [9, 3].

The Strategy testifies to a renewed interest of the European Union in the region which can be explained as follows. Due to the EU enlargements of 2004 and 2007, the inclusion of the Southern Caucasus into the European Neighborhood Policy and the Black Sea Synergy Initiative, Central Asia and the EU became closer geographically, politically and economically. The peculiar geographical location of these states with respect to Afghanistan, Pakistan and Iran has made of Central Asia a very “delicate” spot where security concerns apply. Therefore, cooperation in the field of border management, migration, fight against organized crime and international terrorism as well as human, drugs, and arms trafficking was seen as necessary not just for CA but also for the European Union and its security. At the same time, as reported in the *Strategy for a New Partnership*, the “EU dependency on external energy sources and the need for diversified energy supply policy in order to increase energy security open[ed] further perspective for cooperation” with this region whose countries are particularly rich in natural resources [7, 10].

### 3. EU Democracy Assistance and the new legal framework

In the *Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007–2013*, democratic development and good governance represent key issues together with the promotion of prosperity, solidarity, human rights, decent work, security and sustainable development [9, 4]. Three main fields are identified in this regard: 1) civil society and democratic process; 2) the judicial sphere; 3) Good Governance and Public Service.

Firstly, with regard to civil society and democratic process, the EU assistance “will focus on strengthening democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms. This also covers support for democratic institutions and fostering the development of civil society and media”. Secondly, according to the document the judicial field needs to be reformed assuring greater independence and efficiency in line with international standards with special attention to the improvement of the rule of law. Thirdly, the *Regional Strategy Paper* states that Good Governance and Public Service reform should be fostered in order to increase governance and effectiveness of public administration, to reduce corruption and enhance the rule of law as well as to improve transparency and rationalization of public budget management [Ibid, 31].

Interestingly, the document highlights that the priorities set out by Central Asian governments regarding improvement of people's well-being, poverty alleviation



and the fight against terrorism mirror the three priority areas addressed in the *Strategy Paper*. This is interpreted as evidence that “the transition process is using the EU model, as well as OSCE and UN standards, as an essential point of reference” [9, 8].

In the *Strategy for a New Partnership with Central Asia*, democracy is associated with human rights, rule of law, good governance, which all together are seen as essential elements underpinning long-term political stability and economic development in Central Asia. As reported in this regard, “the development of a stable political framework and of functioning economic structures are dependent on respect for the rule of law, human rights, good governance and the development of transparent, democratic political structures” [4, 15].

No section is explicitly dedicated to democracy in the *Strategy*. However, a role of pivotal importance is attributed to human rights and rule of law: in the document, the EU engagement is described as “Support for protection” and “Promotion” of human rights and rule of law and the European Union’s involvement in this field is defined as a “sustainable contribution” [Ibid]. The initiatives should be based on an open, constructive, structured, regular, results-oriented dialogue [Ibid, 15–16], “taking into account the policy agenda of the individual Central Asian countries and their distinct political and social realities” [Ibid, 31]. However, the document is quite vague when it affirms that “the forms and modalities of such dialogue will be defined individually and at a future stage” [Ibid, 16] without mentioning how this will take place and which actors will be involved.

A reference to civil society is made, when the document affirms that “the task of sustaining a culture of human rights and making democracy work for its citizens calls for the active involvement of civil society. A developed and active civil society and independent media are vital for the development of a pluralistic society. The EU will cooperate with the Central Asia states to this end and promote enhanced exchanges in civil society” [Ibid, 17].

In the *Joint Progress Report by the Council and the European Commission to the European Council on the implementation of the EU-Central Asia Strategy* of 2008, a reference to the new approach used by the European Union in Central Asia is made. The approach is described as “unprecedented”, based on “concrete actions” which “have been mutually agreed upon and are being implemented or are under preparation, both bilaterally with the five Central Asian republics, and with all on key regional issues” [7, 2]. A smooth implementation on the ground of the *Strategy* is encouraged [Ibid, 3].

In the document, democracy is not discussed *per se* but always associated with human rights, rule of law, and good governance. The *Joint Progress Report* points out that “All Central Asian states agreed to engage in or continue a structured Human Rights Dialogue with the EU” [Ibid, 2]; with regard to rule of law and legal and judiciary reforms, it suggests a sharing of experience between the EU and Central Asia [Ibid, 6].

The *Joint Progress Report* ends with an invitation toward more cooperation between EU, civil society, government and local actors and authorities: in particular, “a greater effort should be made to promote human rights and democratization and

to ensure active involvement of civil society, Parliament, local authorities and other actors in the monitoring and implementation of the Strategy” [7, 14]. Noteworthy, neither the actors – civil society, local authorities, other actors – are explicitly identified nor the forms of their involvement are concretely indicated.

A completely different approach characterizes the *European Instrument for Democracy and Human Rights* which is cited in the *Strategy* as an additional way to contribute to human rights dialogue through financial and technical cooperation and specific projects at national level.

The *Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide* explicitly clarifies the mutual relationship and interdependency existing between human rights, democracy, rule of law and good governance. Democracy and human rights are seen as “inextricably linked”: in particular, “the fundamental freedoms of expression and association are the preconditions of political pluralism and democratic process, whereas democratic control and separation of powers are essential to sustain an independent judiciary and the rule of law which in turn are required for effective protection of human rights”. In the Point 22 of the Introduction of the Regulation, a reference to democratization and, more specifically, to democratic processes is made with regard to the “European Election Observation Missions” and their significant and successful contribution. Notwithstanding, it is also mentioned that “the promotion of democracy extends far beyond the electoral process alone”.

The *Regulation (EC) No 1889/2006* provides also a justification for the Community’s engagement in the field of democracy and human rights. As mentioned in Point 2 of the Introduction, “Articles 6 (1) of the Treaty on European Union stipulated that the Union is funded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedom, and the rule of law, principles which are common to the Member States”. The promotion, development and consolidation of these values represent a core objective of the Community’s development policy and economic, financial and technical cooperation with third countries. At the same time, the *Regulation* refers to the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments established by the United Nations as ground in which EU’s contribution in the field of democracy, human rights, rule of law and fundamental freedoms is rooted.

Whereas the *Strategy* describes the initiatives implemented as the result of a decision made in partnership and cooperation with Central Asian countries, the *Regulation (EC) No 1889/2006* establishes and allows forms of assistance which are independent from the consent of third country government and other public authorities. This independency of action is stressed several times throughout the document, where these measures are depicted as “in addition” and “complementary” to the measures agreed with partner countries, able to address “community needs” which were unforeseeable or simply caused by exceptional circumstances.

The choice of this approach relates also to the content of the action itself. Indeed, as Point 9 of the Introduction of the Regulation states, “the task of building and sustaining a culture of human rights and making democracy work for citizens,

though especially urgent and difficult in emerging democracies, is essentially a continuous challenge, belonging first and foremost to the people of the country". In this view, significant steps toward democratization may be accomplished through a partnership with civil society defined as "all types of social action by individuals or groups that are independent from the state".

Therefore, civil society is addressed as a central actor in the promotion and consolidation of democracy and democratic reform of third countries and identified as the main target of the initiatives under EIDHR together with public sector non-profit agencies, institutions and organizations and networks at local, national, regional and international level, national, regional and international parliamentary bodies, international and regional intergovernmental organizations and natural persons (see Article 10).

Noteworthy, the *Regulation* foresees regular monitors and reviews of the initiatives in order to evaluate the effectiveness, coherence and consistence of the programs also by means of independent external evaluators and through annual and review reports.

A strong focus on civil society characterizes also the *Thematic Program "Non-State Actors and Local Authorities in Development"* of 2006, which follows an "actor-oriented" approach, complementing the *Instrument for Democracy and Human Rights* which uses a "sector-oriented" approach.

The *Non-State Actors and Local Authorities Program* focuses on supporting stakeholders – identified with non-state actors and local authorities – by providing financial resources for their "own initiatives" with the aim of involving all part of society in the development process and encouraging their participation in the political, social and economic dialogue.

The "building of the capacity of NSAs and LAs with a view to strengthening their role in poverty reduction and sustainable development strategies" together with the fostering of a "greater interaction between state and non-state actors in various contexts, including NSA involvement in a policy dialogue with the government and their capacity to play an oversight role" represent some of the main objectives of this program [8, 16].

In order to enhance the credibility, visibility and influence of stakeholders, the *Program* recommends the creation of civil society networks and the coordination of their activities with the EU institutions as a way to foster synergies and ensure a structured dialogue. This initiative addresses especially disadvantaged groups in developing countries and, according to the document, NGOs are in the best position to reach and give voice to them. NGOs are therefore recognized a specific, irreplaceable, and essential role in promoting human rights and grassroots democratization.

#### 4. Conclusion

From the very brief analysis presented in the last paragraph, three broad conclusions on the new European Union Democracy Assistance Strategy in Central Asia can be drawn.

Firstly, the European Union lacks of a precise definition of what “democracy” means. The democratic process is associated to regular and fair elections but the promotion of democracy is considered to extend far beyond the electoral process.

In the documents taken into consideration, democracy tends to be associated with human rights, good governance, and rule of law but is never really discussed alone. The *Regulation (EC) No 1889/2006* conceptualizes democracy and human rights as “inextricably linked”. Besides references to the Universal Declaration of Human Rights upon which all Central Asian states have agreed, an auto-referential justification is presented for the EU’s commitment in the field of democracy and human rights. Indeed, as *Regulation* reports, the promotion of principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedom, and the rule of law represents a core objective of the Community’s development policy and economic, financial and technical cooperation with third countries since these values constitute the *culture* on which the European Union itself is funded. Here, the idea of the European Union as “Civilizing Power” and as a normative actor, focused on the promotion of its own Euro-centric model emerges.

However, this position is mitigated by the use of a very “smooth” approach based on “cooperation”, “partnership” in agreement with Central Asian countries, “support for protection” and “promotion” of democracy and human rights. Similarly, the *Joint Progress Report* presents the European Union’s Rule of Law Initiative for Central Asia as based on a sharing of experience between EU and CA.

Secondly, the new EU Democracy Assistance Strategy is characterized by *inclusivity*<sup>2</sup>. Indeed, as the *Strategy for a New Partnership with Central Asia* highlights, the content of the programs should be defined and agreed with the authorities and tailored to the specific needs of each country. Once again, not “imposition from above” but rather “cooperation” and “partnership” with Central Asian governments is chosen.

In addition, the *European Instrument for Democracy and Human Rights* and the *Thematic Program “Non State Actors and Local Authorities in Development”* promote a participatory and actor-oriented approach, aiming at involving and supporting local actors and authorities in the implementation of “their own initiatives” on the ground. Through these initiatives, the European Union seeks to increase and diversify civil society in Central Asia, involving different actors in the political, social and economic dialogue and decision-making process, fostering both liberal and communal forms of civil society. Nonetheless, important questions regarding who can really have access to EU financing aids and who is capable and has the means and expertise to deal with the very complex bureaucratic procedures necessary for a successful grant application are not appropriately addressed.

Thirdly, the new EU Democracy Assistance Strategy is characterized by *reflexivity*<sup>3</sup>. Indeed, the regular completion of monitor and review papers, the

---

<sup>2</sup> Inclusivity refers here to the “extend to which EU foreign policy-makers permit a role (in theory or in practice) in European Foreign policy-making for external actors affected by EFP” [3, 288].

<sup>3</sup> Reflexivity refers here to the “capacity of EU foreign policy-makers to critically analyse the EU’s policy and adapt it according to the effect that the policy is expected to have on the targeted area” [4, 289].

employment of independent external observers evaluating the effectiveness, coherence and consistence of the programs as well as the implementation of *ad hoc* initiatives looking at the countries' specificities, unforeseeable and exceptional needs can all be interpreted as an evidence of a new more attentive approach which take into consideration the local socio-political context.

The new democracy promotion strategy represents a first faint attempt of the European Union to go beyond the teleological Western-oriented approach to democracy. Only in the next years it will be clear whether this new theoretical framework based on an actor-oriented perspective and focused on the local and domestic context will be able to promote *genuine* democratization at the grassroots level, fostering new synergies between civil society, local actors and authorities and the government.

### Acronyms

CA	Central Asia
EIDHR	European Instrument for democracy and Human Rights
EU	European Union
NGO	Non-Governmental Organization
OSCE	Organization for Security and Co-operation in Europe
UN	United Nations
USAID	US Agency for International Development

1. Babajanian B., Freizer S., Stevens D. Introduction: Civil Society in Central Asia and the Caucasus // Central Asian Survey. 2005. 24:3. P. 209–224.

2. Berg A., Kreikemeyer A. Introduction: Democratization Policies in Central Asia Revisited / Berg A., Kreikemeyer A. (eds.) Realities of Transformation. Nomos. Baden-Baden, 2006. P. 9–19.

3. Bicchi F. Our size fits all: normative power Europe and the Mediterranean // J. of European Public Policy. 2006. 13: 2. P. 286–303.

4. Council of the European Union. The European Union and Central Asia: the New Partnership // Action, DFG-Communication / Publications: Brussels, 2009 [Electronic resource]. URL: [http://eeas.europa.eu/central\\_asia/docs/2010\\_strategy\\_eu\\_centralasia\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf) (accessed 17.05.2013).

5. Diamond L. Introduction: in search for consolidation // Diamond L., Plattner M. F., Chun Y., Tien H. (eds.). Consolidating the Third Wave of democracies. The Johns Hopkins University Press: Baltimore ; L., 1997. P. xiii–xlvi.

6. Earle L. Community development, 'tradition' and the civil society strengthening agenda in Central Asia // Central Asian Survey. 2005. 24(3). P. 245–260.

7. European Commission. Joint Progress Report by the Council and the European Commission to the European Council on the implementation of the EU Central Asia Strategy, 2008 [Electronic resource]. URL: [http://eeas.europa.eu/central\\_asia/docs/progress\\_report\\_0609\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf) (accessed 20.12.2013).

8. European Commission. Thematic Programme "Non-State Actors and Local Authorities in Development". 2011–2013 Strategy Paper. Brussels, 2012 [Electronic resource]. URL: [http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/documents/nsa-la\\_strategy\\_2011-2013\\_-\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/documents/nsa-la_strategy_2011-2013_-_en.pdf) (accessed on 25.03.2013).

9. European Community. Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007–2013, 2007 [Electronic resource]. URL: [http://eeas.europa.eu/central\\_asia/rsp/07\\_13\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/central_asia/rsp/07_13_en.pdf) (accessed on 17.05.2013).

10. European Parliament and Council. "Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide". Official Journal of the European Union, L 386/1, 2006 [Electronic resource]. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0001:0011:en:PDF> (accessed on 17.05.2013).

11. *Finnemore M.* Norms, culture, and world politics: insights from sociology's institutionalism // in International Organization. 1996. 50: 2. P. 325–347.

12. *Geiss P. G.* State and Regime Change in Central Asia // Berg A., Kreikemeyer A. (eds.) Realities of Transformation. Nomos: Baden-Baden, 2006. P. 23–41.

13. *Roy O.* The Predicament of 'Civil Society' in Central Asia and the 'Greater Middle East' // in International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944). 2005. 81:5. P. 1001–1012.

14. *Weinthal E., Jones Luong P.* Environmental NGOs in Kazakhstan: democratic goals and nondemocratic outcomes // Sarah E., Mendelson S. E., Glenn J. K. (eds.), The Power and Limits of NGOs. N. Y., 2002. P. 152–176.

15. *Youngs R.* The European Union and the promotion of democracy. Oxford, 2001.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

**К. Пиеробон**

## **ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕМОКРАТИИ**

С 90-х гг. Центральная Азия была объектом многочисленных инициатив западных государств и международных организаций, большинство из которых было направлено на усиление гражданского общества как инструмента демократизации. Международные доноры, прилагая усилия по развитию демократии в Центральной Азии, не учли, что гражданское общество в Европе имело длительную историю развития и что Центральная Азия является иной экономической, политической и культурной средой. С 2000-х гг. складывается новое понимание поддержки демократии, построенное на понятии «поддержка сообществ» на низовом уровне. Автор рассматривает, каким образом ЕС посредством новых проектов в странах Центральной Азии преодолевал провалы и ограничения европоцентричного подхода к региону.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** Евросоюз, Центральная Азия, поддержка демократии.

Третья волна демократизации — с 1974 по 1990 г. — породила телеологический оптимизм относительно способности демократии к распространению. Западная культура, укорененная во взаимоукрепляющих гражданственности, государственных и образовательных учреждениях, в индивидуальных правах, казалось, может распространяться сама собой. С 90-х гг. западные страны оформили этот телеологический и европоцентристский взгляд на политическое развитие в программы поддержки демократии, исходя из убежденности в собственном «системном превосходстве». Одним из основных элементов этих программ было усиление гражданского общества, в которое были инвестированы миллионы, однако возникли сложности: во-первых, спонсируемые НГО

исчезали при прекращении финансовой поддержки; во-вторых, проблемы, которыми занимались спонсируемые НГО, были актуальны для привлечения внимания западной общественности и доноров, но имели малое значение для местных сообществ и незначительные последствия для политики на национальном уровне. Потому такие НГО оказались неэффективны в создании диалога между обществом и властями, не способны формировать демократическую политическую культуру и были исключены из процесса принятия решений. Доноры этих программ пренебрегали социальной, экономической и культурной сложностью Центральной Азии, в которой разные ценности и нормы — советское наследие, регионализм, клиентелизм и племенные связи — сосуществовали и обеспечивали местную версию гражданского взаимодействия, основанного на традициях взаимопомощи («ашар») и влияния на местные власти.

Осознавая эти проблемы, с конца 90-х гг. западные доноры вводят новое понятие «поддержки сообществ» (community development) через участие в деятельности местных акторов, а с 2007 г. принимаются «Стратегия нового партнерства с Центральной Азией» (750 млн евро), «Региональная стратегия помощи ЕС Центральной Азии с 2007 по 2013 г.» и другие программы, например, тематическая программа «Негосударственные акторы и местные власти в развитии», начатая в 2006 г. и продолженная в программе «Негосударственные акторы и местные власти в развитии. Стратегия на 2011–2013 гг.», которые ставят в центр понимание развития демократии снизу и подчеркивают, что вопросы борьбы с терроризмом и наркотрафиком, нелегальной миграцией и энергетической безопасности ЕС могут быть лучше решены, если гражданское общество и демократический процесс, верховенство права и справедливый суд, а также эффективное управление (good governance) и общественно ориентированная госслужба (public service) в странах Центральной Азии будут на соответствующем уровне. Все эти документы опираются на двусторонние соглашения и партнерские договоры, однако следует упомянуть, что Regulation (EC) № 1889/2006 закрепляет формы поддержки демократии вне и помимо согласия правительств или органов власти третьих стран, а главным контрагентом выступает гражданское общество, понятое максимально широко, как «все типы общественной деятельности индивидов или групп, независимых от государства». С целью повышения доверия к НГО, увеличения их публичной представленности и влияния предполагается создание сетей гражданского общества и координация их деятельности с институтами ЕС посредством синергии и институционализированного диалога.

Из анализа программных и стратегических документов становится ясно, что, во-первых, официальные документы ЕС избегают четкой формулировки того, что понимается под «демократией», а предпринимаемые шаги выходят далеко за пределы электорального процесса. Демократия включена в ряд понятий «права человека», «эффективное управление», «верховенство закона», но никогда не рассматривается отдельно. Демократия представлена одной из конституирующих ценностей, на которых построен ЕС, и как часть политической культуры «цивилизованного мира», принадлежность к которой страны

Центральной Азии заявили, подписав соответствующие декларации и соглашения. ЕС считает свою миссию «цивилизующей», в чем проявляется европоцентризм, несмотря на смягчающие заявления о «партнерстве», «сотрудничестве» и «обмене опытом».

Во-вторых, новая стратегия ЕС по поддержке демократии является «инклюзивной»: программы и решения должны быть определены в сотрудничестве и согласованы с местными властями, а также должны быть направлены на нужды конкретной страны. Планируется поддерживать уже имеющиеся местные инициативы и устойчивые группы, тем самым способствуя диверсификации гражданского общества — как либеральным, так и общинным его формам, однако конкретные вопросы о том, кто и на каких условиях сможет получить доступ к финансам ЕС, прояснены недостаточно.

В-третьих, новая стратегия ЕС по поддержке демократии является «рефлексивной», т. е. предполагает мониторинг и независимую оценку результатов, реализацию целевых проектов (*ad hoc initiatives*), возможность корректировать работу и реагировать на непредусмотренные факторы, возникающие в местном политическом контексте.

Таким образом, можно заключить, что новая стратегия ЕС по поддержке демократии в странах Центральной Азии становится менее европоцентричной и телеологичной, но ее эффективность можно будет оценить лишь в будущем.

УДК 164.1 + 164.02:81-11

А. Г. Кислов

### СЕМАНТИКА ПОЗВОЛЕННОГО: ШЕРОХОВАТОСТИ ДЕОНТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА\*

В статье стандартная семантика деонтической логики, выполненная на основе динамической логики высказываний, дополняется «строгими» операторами. Обсуждаются понятия «степень ответственности», «нормативная индифферентность», «деонтическая полнота», «позволенные риски действия и бездействия».

**Ключевые слова:** деонтическая логика, динамическая логика высказываний, логическая семантика, нормативные операторы, санкция, степень ответственности.

Данный текст является развитием, дополнением и уточнением ранее опубликованной статьи [9]; он, в отличие от предыдущих наших исследований [10, 11], опирается исключительно на редукцию деонтической логики к динамической логике высказываний, подробно рассматривает группу операторов, выражающих нормативное безразличие (индифферентность), анализирует сложные взаимоотношения двух групп операторов в «деонтическом универсу-

---

\* Исследование поддержано РГНФ, проект № 12-03-00196а «Логика норм и нормативные системы».



ме» и отмечает в последнем интересные в интерпретационном смысле нестабильные области — *позволенные риски действия и бездействия*<sup>1</sup>.

Деонтическую логику в самом широком смысле определяют как «область современной символической логики, которая состоит в применении ее идей, принципов и методов к анализу морального, правового, политического, экономического и подобных им *нормативных* типов рассуждений»<sup>2</sup>. На пути преодоления известных недостатков деонтической логики [8, 14], построенной в духе «старого модализма», т. е. на основе аналогии с логикой алетических модальностей<sup>3</sup>, широкую известность приобрели инициированные Г. Х. фон Вригтом самые разноплановые исследования условных норм, т. е. исследования деонтических версий так называемых диадических модальностей [4, 320–334]<sup>4</sup>, или трактовка нормы как выражения связи случаев с решениями [19]<sup>5</sup>. В каком-то смысле альтернативой указанному подходу оказывается впервые реализованное также фон Вригтом намерение строить логику норм на основе логического анализа действий. Корифеем современных деонтических исследований в логике, выражая необходимость строить логику норм на основе логического анализа действий, сетовал, что «формальная логика, та, которую мы сегодня знаем, по существу является логикой *статичного* мира. ...Она не предоставляет места для *изменений* в этом мире. ...Действия все-таки существенно связаны с изменениями» [29, 15]. Сегодня, когда речь идет о логическом анализе действий, имеется в виду целое семейство идейно близких, но имеющих различные технические решения семантических подходов к построению специализированных логических систем<sup>6</sup>.

## 1. Реляционная семантика динамической логики высказываний

Для последующего обсуждения семантики норм воспользуемся аппаратом такого естественного и далекоидущего обобщения модальной логики, как *динамическая логика*<sup>7</sup>, т. е. мультимодальной логической системой [6], в которой каждая модальная связка проиндексирована формальной программой. Динамическая логика является формальной системой, в которой вырабатываются средства выражения различных динамических категорий и ключевую роль как раз играют *изменения* статических положений дел. Первые планы динамической логики в этом смысле были развиты Ф. Праттом [26, 27], а в ее пропозициональной форме — М. Фишером и Р. Ладнером [21], и с тех пор эта логика многократно обрабатывалась, развивалась и расширялась<sup>8</sup>. Традиционная

<sup>1</sup> О логических и правовых аспектах позволений см., например, [12].

<sup>2</sup> Первичные сведения о деонтической логике можно получить из [7, 13].

<sup>3</sup> Чаще всего обсуждаются известные парадоксы А. Росса, А. Прайора, Р. Чизхольма и др.; на наш взгляд, корневой здесь оказывается проблема статуса так называемой «деонтической альтернативы миру».

<sup>4</sup> См. также [22, 23].

<sup>5</sup> На русском языке см. [1].

<sup>6</sup> См., например, [2, 5, 16, 25].

<sup>7</sup> Обзор работ по динамическим логикам, см., например, в [18].

<sup>8</sup> См., например, [17, 28].

интерпретация систем динамической логики рассчитана на информатику, так как рассматривает, грубо говоря, изменение состояния компьютера во время некоторого выполнения программы, а проблемы синтеза и верификации программ остаются основной сферой приложения. Однако и более общее представление о действиях, вызывающих изменения ситуаций, вполне позволяет работать с семантикой динамической логики.

Для целей данной статьи достаточно начать с рассмотрения лишь фрагмента (без задач построения и анализа молекулярных действий) *пропозициональной динамической логики* (PDL). В основе языка PDL лежат два множества: множество *атомарных высказываний* —  $\Phi_0$  и множество *атомарных действий* —  $\Pi_0$ .

Обычно алфавит PDL кроме стандартных пропозициональных связок и динамического оператора [ ] содержит также специальные, термообразующие по своему характеру связки для действий, благодаря которым существует возможность из атомарных действий составлять молекулярные, т. е. более сложные, так, что можно рассматривать, например, последовательное выполнение действий, совместное (параллельное) выполнение действий, выбор между действиями, итерацию действий и многое другое. Однако комментаторская функция данной статьи не позволяет нам удовлетворительным образом анализировать здесь весь массив, безусловно, не лишенных проблем, а значит, и более интересных случаев распространения деонтических операторов на сложные действия. Поэтому мы ограничимся поначалу рассмотрением лишь атомарных действий. Другими словами, в обычном построении PDL участвуют две синтаксические категории: категория *формул* ( $\Phi$ ) и категория *действий* ( $\Pi$ ), в нашем же случае  $\Pi_0 = \Pi$ .

Таким образом, к стандартному для пропозициональной логики описанию выражений в правильной форме следует добавить только один пункт:

если  $A \in \Phi$  и  $\alpha \in \Pi$ , то  $[\alpha]A \in \Phi$ .

Выражение  $[\alpha]A$  читается как «после выполнения  $\alpha$  с необходимостью имеет место  $A$ ».

Построение PDL опирается на стандартную реляционную (крипкевскую) семантику, т. е. семантическая модель есть пара  $M = \langle W, V \rangle$ , где  $W$  — непустое множество возможных миров (полных состояний), а  $V$  — функция означивания с областью определения  $\Phi_0 \cup \Pi_0$ ;

— означивание атомарного высказывания  $p \in \Phi_0$  представлено подмножеством возможных миров:

$$V(p) \subseteq W;$$

— означивание атомарного действия  $\alpha \in \Pi_0$  представлено бинарным отношением на этом множестве:

$$V(\alpha) \subseteq W \times W.$$

При  $s \in W$  и  $A \in \Phi$  выражение  $M, s \models A$  читается как « $A$  истинно в мире  $s$  модели  $M$ ».

Оценка атомарных выражений<sup>9</sup>

$$M, s \models p \Leftrightarrow s \in V(p)$$

в PDL рекурсивно распространяется на любые выражения; из чисто пропозициональной части нам понадобится только

$$M, s \models \neg A \Leftrightarrow \neg M, s \models A.$$

Говоря неформально, каждое атомарное действие представляет собой некоторое множество переходов из одного возможного мира ( $s \in W$ ) в другой ( $t \in W$ ). И каждый такой переход вида  $\langle s, t \rangle \in V(\alpha)$ , когда  $s \neq t$ , означает, что найдется хоть одно атомарное высказывание, поменявшее в результате такого перехода свое значение (рис. 1).

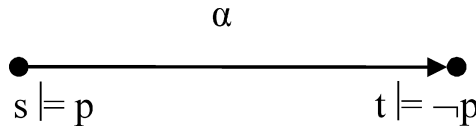


Рис. 1. Переход из мира s в мир t

Впрочем, и рефлексивные случаи, когда  $s = t$ , обычно не исключаются из модели PDL, т. е. допускается возможность квазипереходов вида  $\langle s, s \rangle \in V(\alpha)$ , которые не приводят ни к каким изменениям.

К стандартному определению оценки выражений добавляется следующий пункт:

$$M, s \models [\alpha]A \Leftrightarrow (\forall t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \rightarrow M, t \models A),$$

что можно проиллюстрировать (рис. 2).

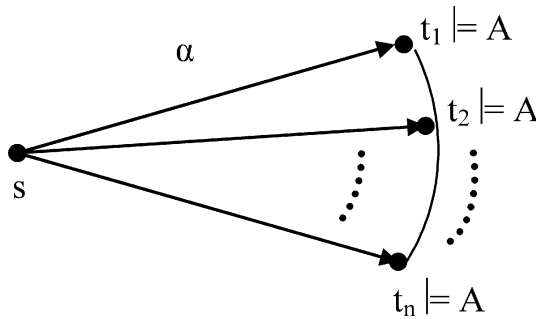


Рис. 2. Семантика  $[\alpha]A$

Как правило, при формулировке PDL рассматривают и дуальный динамический оператор  $\langle \alpha \rangle$ . Выражение  $\langle \alpha \rangle A$  читается как «после выполнения  $\alpha$  возможно, что имеет место  $A$ » и определяется синтаксически:

$$\langle \alpha \rangle A =_{Df} \neg [\alpha] \neg A,$$

<sup>9</sup> Здесь и далее в правой части равенств используются знаки метаязыка.

или в семантической форме оценки:

$$M, s \models \langle \alpha \rangle A \Leftrightarrow (\exists t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \wedge M, t \models A),$$

что можно проиллюстрировать (рис. 3).

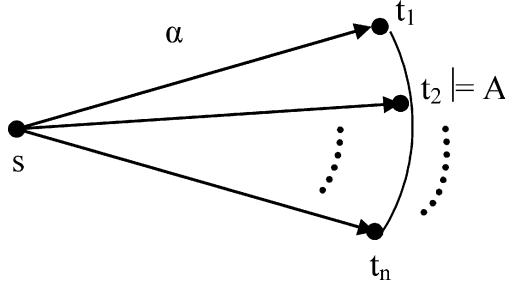


Рис. 3. Семантика  $\langle \alpha \rangle A$

Итак, мы описали фрагмент PDL, который понадобится нам в дальнейшем, причем перечисленное характерно для всех обычных версий динамической логики.

## 2. Семантика деонтических операторов в динамической логике: стандартная версия

Стандартное построение семантики деонтических операторов средствами PDL [24] восходит к широко известной и абсолютно «редукционистской» идее А. Андерсона [20] считать деонтический оператор «запрещено» лишь сокращением модально-импликативной записи в алетической логике, а именно:

$$F(A) =_{\text{Df}} \Box(A \rightarrow v),$$

где  $v$  есть особая пропозициональная константа, которая обозначает так называемые «нежелательные положения дел», например различные виды санкций. Предлагается рассматривать запись  $[\alpha]A$  в качестве усовершенствованной версии записи  $\Box(\alpha \rightarrow A)$ , причем с устранением недостатка в виде нежелательного соединения одной связкой двух различных семантических сущностей — действий и высказываний<sup>10</sup>.

Таким образом,

$$F(\alpha) =_{\text{Df}} [\alpha]v,$$

или в семантической форме оценки

$$M, s \models F(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models [\alpha]v \Leftrightarrow (\forall t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \rightarrow M, t \models v),$$

<sup>10</sup> Впрочем, формально-семантически такой «барьер» может быть преодолен и путем корректного введения специальной связки, образующей высказывание из термов и высказываний.

т. е. в мире  $s$  *запрещено* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда это с необходимостью приводит к нежелательному положению дел (к санкции) (рис. 4):

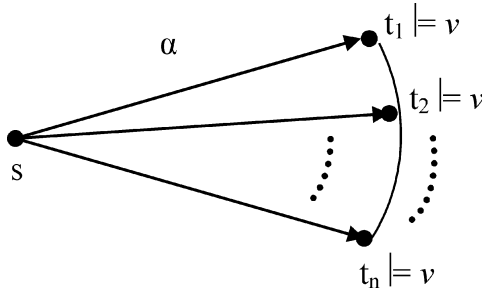


Рис. 4. Семантика  $F(\alpha)$

Остальные деонтические операторы подлежат взаимопределению. И с оператором «позволено» здесь нет никаких проблем:

$$P(\alpha) =_{\text{Df}} \neg F(\alpha),$$

т. е. в мире  $s$  *позволено* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда это не запрещено, или

$$M, s \models P(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models \langle \alpha \rangle \neg v \Leftrightarrow (\exists t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \wedge \neg M, t \models v),$$

т. е. в мире  $s$  *позволено* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда имеется возможность избежать нежелательных положений дел (рис. 5).

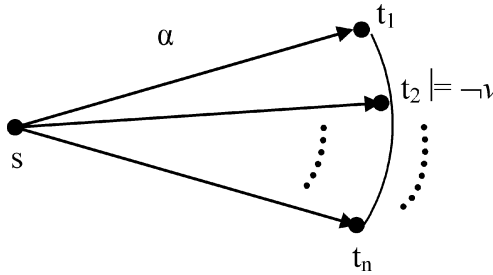


Рис. 5. Семантика  $P(\alpha)$

Оператор же «обязательно» требует большего внимания. Нам понадобится ввести отрицание действия, которое хорошо бы интерпретировать как «воздержание» от его выполнения. Однако в случае с молекулярными действиями становится ясно, что воздержание от действия не стоит воспринимать просто как его отрицание [5, 250]. Предлагаемые семантические решения оказываются весьма интересными, но отнюдь не бесспорными. Впрочем, при ограничении исключительно атомарными действиями и их отрицаниями «невыполнение  $\alpha$ » и «выполнение не- $\alpha$ » совпадают.

Нам понадобится добавить в алфавит нашего фрагмента PDL единственную, причем унарную, связку для действий —  $\sim$ , т. е. ввести отрицание действия —  $\sim\alpha$ , которое следует интерпретировать как «воздержание от выполнения  $\alpha$ ».

Теперь  $\Pi_0 \subset \Pi$ , а в описание выражений в правильной форме включается

$$\text{если } \alpha \in \Pi, \text{ то } \sim\alpha \in \Pi.$$

Означивание действия  $\sim\alpha$  основано на дополнении к означиванию действия  $\alpha$  в смысле

$$V(\sim\alpha) = W \times W / V(\alpha),$$

а значит,

$$\langle s, t \rangle \in V(\sim\alpha) \Leftrightarrow \langle s, t \rangle \notin V(\alpha).$$

Ясно, что

$$V(\sim\sim\alpha) = V(\alpha);$$

$$V(\alpha) \cap V(\sim\alpha) = \emptyset;$$

$$V(\alpha) \cup V(\sim\alpha) = W \times W.$$

Теперь можно дать определение оператора «обязательно»:

$$O(\alpha) =_{\text{Df}} F(\sim\alpha),$$

т. е. в мире  $s$  *обязательно* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда запрещено не выполнять (воздерживаться от)  $\alpha$ , или

$$M, s \models O(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models [\sim\alpha]v \Leftrightarrow (\forall t \in W) (\langle s, t \rangle \notin V(\alpha) \rightarrow M, t \models v),$$

т. е. в мире  $s$  *обязательно* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда воздержание от выполнения  $\alpha$  с необходимостью приводит к нежелательному положению дел (рис. 6), т. е. в мире  $s$  *обязательно* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда лишь таким образом можно избежать нежелательного положения дел (прийти к  $\neg v$ ).

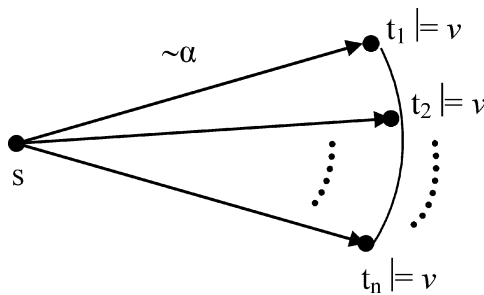


Рис. 6. Семантика  $O(\alpha)$

### 3. Семантика деонтических операторов «в строгом смысле»

Очевидны преимущества рассмотренной формулировки интенциональной семантики деонтической логики на основе логики динамической [11]. Например, можно отказаться от взаимоопределимости деонтических операторов и вслед за Г. Х. фон Вригтом считать «позволение чем-то “сверх и более” простого отсутствия запрещения» [5, 250]: *действие оценивается как позволенное, если только любое его выполнение не приводит к нежелательным результатам* (рис. 7).

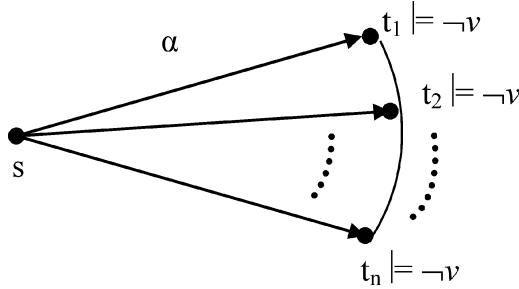


Рис. 7. Семантика  $P^+(\alpha)$

Впрочем, разумным будет расценивать эту только что представленную и содержательно, безусловно, интересную характеристику как интуицию для отдельного вида позволений. Такое позволение можно называть «позволено в строгом смысле» и обозначать  $P^+(\alpha)$ . Оно уже не определяется отсутствием стандартного запрещения:

$$P^+(\alpha) =_{\text{Df}} [\alpha] \neg v,$$

или в семантической форме оценки

$$M, s \models P^+(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models [\alpha] \neg v \Leftrightarrow (\forall t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \rightarrow \neg M, t \models v),$$

т. е. в мире  $s$  *позволено в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда никакое его выполнение не приводит к нежелательному положению дел.

Теперь, учитывая все же возможности взаимоопределимости деонтических операторов, нетрудно ввести всю группу операторов «в строгом смысле».

Оператор «запрещено в строгом смысле»:

$$F^+(\alpha) =_{\text{Df}} \neg P^+(\alpha),$$

т. е. в мире  $s$  *запрещено в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда это не позволено в строгом смысле, или

$$M, s \models F^+(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models \langle \alpha \rangle v \Leftrightarrow (\exists t \in W) (\langle s, t \rangle \in V(\alpha) \wedge M, t \models v),$$

т. е. в мире  $s$  *запрещено в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда это может привести к нежелательному положению дел (рис. 8).

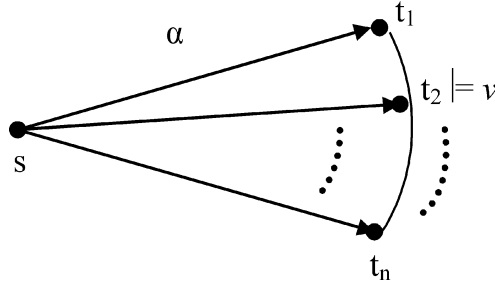


Рис. 8. Семантика  $F^+(\alpha)$

Определяется и соответствующий оператор «обязательно в строгом смысле»:

$$O^+(\alpha) =_{\text{Df}} F^+(\sim\alpha),$$

т. е. в мире  $s$  *обязательно в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда запрещено в строгом смысле не выполнять (воздерживаться от)  $\alpha$ , или

$$M, s \models O^+(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models \langle \sim\alpha \rangle v \Leftrightarrow (\exists t \in W) (\langle s, t \rangle \notin V(\alpha) \wedge M, t \models v),$$

т. е. в мире  $s$  *обязательно в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда воздержание от выполнения  $\alpha$  может привести к нежелательному положению дел (рис. 9), т. е. в мире  $s$  *обязательно в строгом смысле* выполнять  $\alpha$  тогда и только тогда, когда таким образом можно точно избежать нежелательного положения дел.

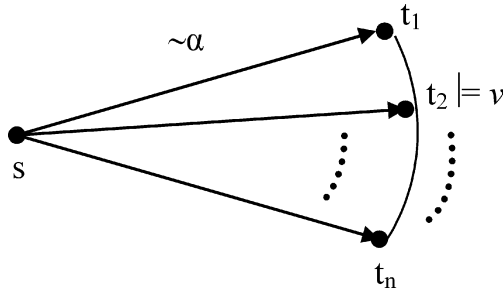


Рис. 9. Семантика  $O^+(\alpha)$

#### 4. Сравнение операторов — стандартных и «в строгом смысле»

Если сравнивать теперь обе группы модальностей, нетрудно заметить, что в содержательном плане их разделяет предполагаемая «степень ответственности» субъекта нормы (см. таблицу).

Позволение в строгом смысле, что, очевидно, влечет отсутствие стандартного запрещения, а значит, и позволение в обычном смысле, но обратное следование уже не имеет места [5, 250]. Иными словами, если некоторое действие



**Сравнение стандартных и «строгих» нормативных операторов**

Оператор	«Запрещено»	«Позволено»	«Обязательно»
Стандартный (максимальная степень ответственности)	$F\alpha = [\alpha]v =$ $= \neg\langle\alpha\rangle\neg v$	$P\alpha = \neg[\alpha]v =$ $= \langle\alpha\rangle\neg v$	$O\alpha = [\neg\alpha]v =$ $= \neg\langle\neg\alpha\rangle\neg v$
«Строгий» (минимальная степень ответственности)	$F^+\alpha = \neg[\alpha]\neg v =$ $= \langle\alpha\rangle v$	$P^+\alpha = [\alpha]\neg v =$ $= \neg\langle\alpha\rangle v$	$O^+\alpha = \neg[\neg\alpha]\neg v =$ $= \langle\neg\alpha\rangle v$

разрешено в строгом смысле, т. е. разрешено субъекту нормы, без расчета на ответственность последнего, то это же действие, безусловно, разрешено и ответственному субъекту:

$$P^+(\alpha) \models P(\alpha),$$

а если некоторое действие запрещено или обязательно для выполнения даже ответственному субъекту, то это же действие соответственно запрещено в строгом смысле или обязательно в строгом смысле, т. е. запрещено или обязательно для выполнения и без расчета на ответственность субъекта нормы:

$$F(\alpha) \models F^+(\alpha),$$

$$O(\alpha) \models O^+(\alpha),$$

обратные же следования не имеют места.

**5. Операторы нормативной индифферентности  
и «территория позволенного»**

Экспликация концепта «степень ответственности» на базе определения класса деонтических операторов «в строгом смысле» обогащает исследования введением целой группы операторов «деонтически индифферентно», выражающих различные виды нормативного безразличия, и, как следствие, более пристальным анализом «деонтического универсума» со сложными взаимоотношениями двух групп операторов в нем.

Определим операторы нормативной индифферентности.

Обычный оператор «индифферентно»

$$I(\alpha) =_{Df} P(\alpha) \wedge P(\neg\alpha),$$

или

$$M, s \models I(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models \langle\alpha\rangle\neg v \wedge \langle\neg\alpha\rangle\neg v.$$

Оператор «индифферентно в строгом смысле»

$$I^+(\alpha) =_{Df} P^+(\alpha) \wedge P^+(\neg\alpha),$$

или

$$M, s \models I^+(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models [\alpha]\neg v \wedge [\neg\alpha]\neg v.$$

И два дополнительных (промежуточных) оператора индифферентности, несимметрично оценивающих действие и бездействие, названные (за отсутствием лучшего):

— оператор «остерегающе-индифферентно»<sup>11</sup>

$$I^<(\alpha) =_{\text{Df}} P(\alpha) \wedge P^+(\alpha),$$

или

$$M, s \models I^<(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models \langle \alpha \rangle \neg v \wedge [\sim \alpha] \neg v;$$

— оператор «рекомендующе-индифферентно»<sup>12</sup>

$$I^+(\alpha) =_{\text{Df}} P^+(\alpha) \wedge P(\sim \alpha),$$

или

$$M, s \models I^+(\alpha) \Leftrightarrow M, s \models [\alpha] \neg v \wedge \langle \sim \alpha \rangle \neg v.$$

Очевидно, что

$$I^+(\alpha) \models I^<(\alpha) \models I(\alpha);$$

$$I^+(\alpha) \models I^+(\alpha) \models I(\alpha).$$

Как нетрудно заметить, принцип «деонтической полноты» для группы обычных операторов (рис. 10)

$$M, s \models O(\alpha) \vee I(\alpha) \vee F(\alpha)$$

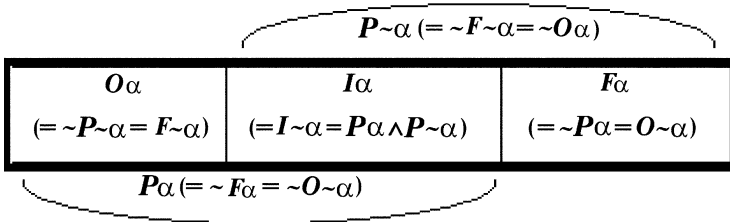


Рис. 10. Деонтический универсум со стандартными операторами

<sup>11</sup> В качестве примера «остерегающе-индифферентного» отношения к действию приведем выражение деонтического безразличия к относительно рискованным действиям, допустим — использованию бенгальских огней на празднике, или спортивным прыжкам с парашютом, или «жертве» ферзя в шахматах. Такое безразличие все же отдает некоторое предпочтение воздержанию от действия, предполагая ответственного субъекта для его выполнения.

<sup>12</sup> Примером «рекомендующе-индифферентного» отношения к действию служит выражение деонтического безразличия к таким действиям, воздержание от выполнения которых относительно рискованно, — соблюдению диетического питания, или различным видам необязательного страхования, или выполнению рокировки в шахматах. Здесь предпочтение отдается выполнению действия, а, воздерживаясь от него, субъект берет на себя ответственность.

аналогичен и для группы операторов, употребленных «в строгом смысле» (рис. 11):

$$M, s \models O^+(\alpha) \vee I^+(\alpha) \vee F^+(\alpha).$$

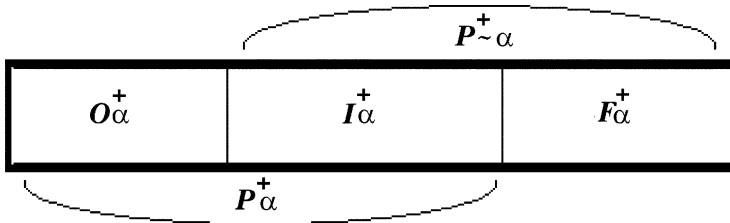


Рис. 11. Деонтический универсум со «строгими» операторами

Объединенная же схема требует большего внимания (рис. 12).

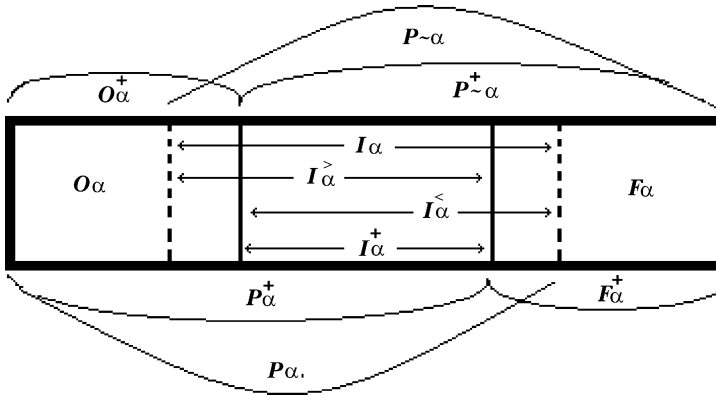


Рис. 12. Объединенный (бимодальный) деонтический универсум

«Деонтический универсум» объединенной, т. е. бимодальной, семантики содержит три основные области:

- тех действий, что стандартно обязательны, —  $O(\alpha)$ ;
- тех действий, что стандартно запрещены, —  $F(\alpha)$ ;
- тех действий, что деонтически безразличны в строгом смысле, —  $I^+(\alpha)$ .

Однако эти области не исчерпывают всего универсума, их дополняют две «пограничные», содержащие компоненту стандартного позволения области:

– тех действий, что обязательны в строгом смысле, но не обязательны стандартно, т. е. для субъектов с максимальной ответственностью (*позволенный риск бездействия*: беря на себя ответственность, можно воздержаться от действия, которое точно бы избавило от нежелательного положения дел) —

$$O^+(\alpha) \wedge P(-\alpha);$$

— тех действий, что запрещены в строгом смысле, но разрешены стандартно, т. е. для субъектов с максимальной ответственностью (*позволенный риск действия*: беря на себя ответственность, можно совершить действие, которое способно привести к нежелательному положению дел):

$$F^+(\alpha) \wedge P(\alpha).$$

Такое взаимоотношение различных деонтических операторов выглядит вполне естественным, ведь именно эти «пограничные» области (рис. 13), в их содержательных версиях чреватые знаменитыми проблемами [3, 15] нестабильности нормативных кодексов — «нормативными провалами» и «дифракцией норм».

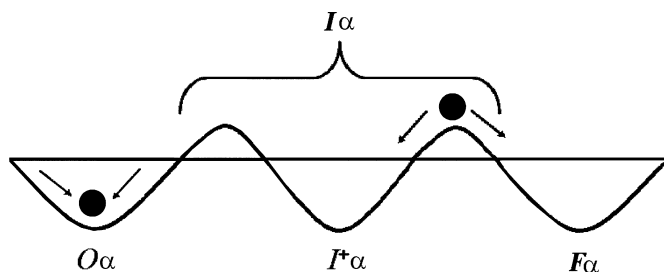


Рис. 13. Стабильные и нестабильные зоны деонтического универсума.

Бимодальная семантика деонтической логики, содержащая обе группы рассмотренных операторов, представляется нам перспективной и требующей своего развития, например, путем введения своего рода «шкалы ответственности». Следует отличать особенности деонтических операторов с расширением «в строгом смысле» от характера формулировок сильных и слабых запретов и разрешений, которые довольно часто обсуждаются [1]. Хотя, безусловно, объединение темы степеней ответственности для субъекта нормы и темы интерпретации отсутствия нормы, тоже как аспекта ответственности, но уже в контексте нормотворчества, не только возможно, но и крайне привлекательно для исследования.

Мы ограничились рассмотрением исключительно семантических вопросов интерпретации деонтических операторов, изложения или построения какой-либо конкретной системы деонтической логики не планировалось. Поставленная задача посильным образом выполнена, поскольку показано, что выход за рамки идей «старого модализма» оправдан, а обращение к логическому анализу действий, в частности к аппарату динамической логики высказываний, существенно обогащает «палитру» деонтико-логических исследований и открывает перспективы построения систем деонтической логики, имеющих современный теоретический интерес и прикладное значение. Более содержательное обсуждение, например, взаимоотношений обычных и «строгих» версий деонтических операторов, с привлечением и подробным разбором иллю-

страций из реальной юридической практики или из других областей нормативного характера требует дополнительной работы и планируется в дальнейшем.

1. Альчуррон К. Э., Булыгин Е. В. Нормативные системы // «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм. СПб., 2013. С. 44–210.
2. Блинов А. Л., Петров В. В. Элементы логики действий. М., 1991.
3. Булыгин Е. В. Когда право молчит // «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм. С. 371–379.
4. Вригт Г. Х. фон. Нормы, истина и логика // Логико-философские исследования : избр. тр. М., 1986. С. 290–410.
5. Вригт Г. Х. фон. О логике норм и действий // Там же. С. 245–289.
6. Гольдблатт Р. Логика времени и вычислимости. М., 1992.
7. Караваев Э. Ф. Деонтическая логика // Символическая логика : учеб. СПб., 2005. С. 397–414.
8. Кислов А. Г. Возвращаясь к Францу Brentano из лабиринтов деонтической логики // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 3 : Общественные науки. 2012. № 1 (100). С. 71–80.
9. Кислов А. Г. Динамическая логика и деонтические операторы «в строгом смысле» // Философия науки. 2012. № 3 (54). С. 65–80.
10. Кислов А. Г. Интенциональная семантика действий, норм и санкций // Мир человека: нормативное измерение — 3. Рациональность и легитимность. Саратов, 2013. С. 45–55.
11. Кислов А. Г. Семантика деонтических операторов в динамической логике высказываний // Рос. ежегодник теории права. 2011. № 3 (2010). С. 505–517.
12. Ковалевич О. С., Лисанюк Е. Н. К вопросу о роли позволений в логике норм и философии права // Логико-философские штудии. 2012. № 10. С. 134–140.
13. Лисанюк Е. Н. Деонтическая логика // Логика : учеб. М., 2010. С. 377–424.
14. Лисанюк Е. Н. Развитие представлений о нормах в деонтической логике // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер. Философия. 2010. Т. 8, вып. 1. С. 147–152.
15. Лобовиков В. О. Проблема неполноты формально определенных систем норм позитивного права, первая теорема Гёделя о неполноте и юридические фикции как важный компонент юридической техники // Науч. вестн. Омск. академии МВД России. 2013. № 2 (49). С. 53–57.
16. Пона К. Логика действия и метод критического хода мысли // Неклассические логики и пропозициональные установки : тр. науч.-исслед. семинара по логике Ин-та философии АН СССР. М., 1987. С. 18–31.
17. Сегерберг К. «После» и «во время» в динамической логике // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки. М., 1984. С. 58–80.
18. Столбоушкин А. П., Тайцлин М. А. Динамические логики // Кибернетика и вычислительная техника. М., 1986. Вып. 2. С. 180–230.
19. Alchourron C. E., Bulygin E. Normative Systems. Wien ; N. Y., 1971.
20. Anderson A. R. A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic // Mind. 1958. Vol. 67, № 267. P. 100–103.
21. Fischer M. J., Ladner R. F. Propositional Dynamic Logic of Regular Programs // J. of Computer and System Sciences, 1979. 18. P. 194–211.
22. Frassen B. C. van. The Logic of Conditional Obligation // J. of Philosophical Logic. 1972. № 1. P. 417–438.
23. Hansson B. An Analysis of Some Deontic Logics // Deontic Logic. Introductory and Systematic Readings. Dordrecht ; Boston ; L., 1971. P. 121–147.
24. Meyer J.-J. Ch. A Different Approach to Deontic Logic: Deontic Logic Viewed as a Variant of Dynamic Logic // Notre Dame Journal of Formal Logic. 1988. Vol. 29, № 1. P. 109–136.

25. *Penther-Buck B.* A Dynamic Logic of Action // *Journal of Logic, Language and Information*. 1994. № 3. P. 169–210.

26. *Pratt V. R.* Process Logic: Preliminary Report // *Proc. of the 6<sup>th</sup> Association for Computing Machinery (ACM) Symp. on Principles of Programming Language*. N. Y., 1977. P. 30–73.

27. *Pratt V. R.* Semantical Considerations on Floyd-Hoare Logic // *Proc. of the 17<sup>th</sup> Institute of electrical and electronics engineers (IEEE) Symp. on Foundations of Computer Science*. Houston, 1976. P. 109–121.

28. *Segeberg K.* Applying modal logic // *Studia logica*. 1980. Vol. 39, № 2/3. P. 275–295.

29. *Wright G. H. von.* Norm and Action, A Logical Enquiry. L., 1963.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 008 + 159.9 + 316.62

**О. Л. Лейбович**

## **КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

В статье идея культуры рассматривается как исследовательский инструмент, позволяющий изучать современное российское общество. В соответствии с антропологической традицией культура отождествляется с суммой технологий, освоенных и применяемых различными социальными группами. Автор показывает, что качественные различия между технологиями провоцируют социокультурный раскол в обществе, проявляющийся в том числе и на политическом уровне.

**Ключевые слова:** российское общество, культура, технологии, культурный шок, культурные разрывы.

**Предварительные замечания.** Примем тезис З. Баумана, согласно которому идея культуры является «...историческим изобретением, вызванным стремлением интеллектуально освоить бесспорный исторический опыт» [14, XIV]. Она появляется в ситуации, когда прежние объяснительные модели теряют свою продуктивность, будучи не в состоянии ответить на новые общественные вызовы.

«Предпосылками формирования культурологии были переоценки линейно-исторических (“историцистских”, в попперовской терминологии) и натуралистских концепций социального детерминизма, выявление многообразия типов рационального поведения, уникальной роли неповторимых культурных импульсов в выходе “экономического человека” на авансцену европейской истории и т. д.» [3, 368].

По своему происхождению концепция культуры тяготеет к практическому знанию. «Выяснение существа культуры, — размышляя о смысле философских дискуссий на эту тему З. И. Файнбург, — отнюдь не схоластические упражнения, а необходимый этап научного обоснования тех или иных элементов, сторон, направлений культурной политики, ранее зачастую довольство-

вавшейся лишь простым феноменологическим подходом к вопросам культуры и управления ею» [11, 25].

Для того чтобы культурологическое знание было востребованным, необходимы определенные условия: общественное согласие на тему признания действительных культурных проблем; специалисты, умеющие их исследовать; управленческие кадры, способные воспринять полученную информацию. Если какой-то из этих элементов отсутствует, идея культуры превращается в идеологический фантом. Она «...становится обширнейшим конгломератом, состоящим из разных “культур”, равновеликих по отношению друг к другу» [17, 171], или обозначает нечто высокое, достойное, исчезающее. «Культура — это нечто уникальное, то, что следует писать с большой буквы “К”» [15].

В таких условиях и формируются десятки определений культуры, некогда распределенных А. Кребером и К. Клакхоном по шести группам: (описательные, исторические, нормативные, психологические, структурные и генетические) [18].

Замещение концепции культуры ее фантомами обусловлено также вполне определенными интересами социальных и профессиональных групп, защищающих свой статус хранителей национальных традиций, социального порядка или универсальных «надмирных» ценностей. Складывается коалиция между людьми власти и традиционалистски ориентированными интеллектуалами, отстаивающими элитистское, аристократическое видение культуры [16]. В последние десятилетия отечественная культурология институализировалась как хранительница исторического наследия, как линия защиты перед интервенцией «чуждых» культурных форм, в конечном счете как особый вид традиционалистской идеологии и образовательной практики [12, 112–117].

Эвристический потенциал идеи культуры может быть востребован в современной отечественной ситуации, отмеченной высокой степенью социальной напряженности. За политическими конфликтами угадываются глубинные культурные противоречия, нуждающиеся в осмыслении. В таких условиях появляется потребность применения аналитических практик, заложенных в антропологическом концепте культуры.

**Антропологический концепт культуры** сложился в середине XX в. как продолжение и развитие исследовательских этнологических практик. Его ключевая идея сформулирована Л. Уайтом: «Мы можем представить культурную систему в виде трех горизонтальных слоев: технологический в основании, философский наверху, социальный между ними. Такая картина соответствовала бы их относительным ролям в культурном процессе. Технологическая система первична, она лежит в фундаменте. Социальные системы являются функциями от технологических; философские производны от производительных сил и отражают социальные отношения» [10, 100].

В отечественной гуманитарной традиции аналогичные идеи развивали Э. Маркарян и З. Файнбург.

Под культурой как антропологическим концептом понимается сумма технологий, освоенных и осмысленных людьми, принадлежащими к определенному обществу. По Э. Маркаряну, «культура — это специфически характерный

для людей способ деятельности, объективированный в различных продуктах результата этой деятельности» [6, 18] .

В обществе, дифференцированном по социальным критериям, взаимодействуют несколько культур. В мире с выраженной социальной стратификацией устанавливается иерархический порядок культур: некоторым присваивается титул «высокой культуры», «культуры духовной», «цивилизованности» и т. п.; другим — «культуры низовой», «массовой»; иным отказывают в звании культуры вообще, клеймят их «отсталостью», «бескультурьем» и пр. Прочитируем П. Бурдьё: «Господствующая культура вносит свой вклад как в действительную интеграцию господствующего класса (обеспечивая непосредственную коммуникацию между его членами и отличая его от всех других классов), так и в ложную интеграцию общества в целом, а следовательно, в демобилизацию (ложное сознание) подчиненных классов, а также в легитимацию установленного порядка с помощью установления различий (иерархий) и легитимацию этих различий» [1, 92]. Упорядоченность социальных технологий по определенному критерию определяется господствующим типом культуры.

Культура общества характеризуется свойством консервативности по отношению к иным структурным компонентам общества: его экономике, политике, предметному миру. Шаг культуры, по меткому замечанию З. И. Файнбурга, измеряется поколениями [12, 28–34]. Обновить культуру означает изменить видение мира, выработать новые ценностные ориентации, сформировать и принять нормы, разработать иные поведенческие модели. Трансформации такого масштаба запускаются только под воздействием зримого отказа прежних жизненных стратегий, жесткого конфликта между новыми условиями бытия людей и разученными алгоритмами поведения, в конечном счете — под влиянием разрушения социального порядка. Этот конфликт проявляется тем острее, чем более жесткую, неподвижную конструкцию образует культура вчерашнего дня, чем меньше в ней возможностей для появления корректирующих технологий, для принятия и переработки новых заимствованных извне правил. Впрочем, предпосылки новой культуры всегда созревают внутри старой: в виде появляющихся аттракторов для отдельных индивидов или целых групп, постепенного разложения норм, при которых отодвигается, а в иных случаях и стирается граница между должным и недопустимым. Одновременно складываются альтернативные стратегии поведения, подвергается сомнению иерархический порядок культур, оспариваются прежние оценки...

Культурная традиция — это смесь смутных чувствований и переживаний, сохранившихся в памяти, и современного экспертного знания о том, что из исторического прошлого следует признать наследием, социально значимым, ценным и укорененным, а что подлежит забвению. Традиция — всегда процесс интерпретации и в конечном счете конструирования истории. *Статус культурной традиции в социальных технологиях определяется тем, что она «рисует» картину мира, в котором действуют индивиды; формирует для них ценностные ориентации; производит отбор жизненных стратегий по степени их легитимности по отношению к прошлому.*



Смена культур сопровождается шоковыми ситуациями или, по-другому, крушением сложившегося, освященного традициями порядка; хаосом представлений о мире; абсурдностью практик; снижением и огрублением поведенческих норм. Содержательной характеристикой культурного шока служит хаотичное, спонтанное, тяготеющее к упрощению изменение моделей поведения сообществ и отдельных индивидов, сопровождающееся ростом насилия и ослаблением институализированных прежним укладом социальных связей [4, 267–276].

Можно предположить, что культурный шок представляет собой необходимый этап в динамике культур.

Динамика культуры — процесс вариативный, ни в коем случае не однолинейный, характеризующийся острейшими конфликтами, попятными движениями, асинхронностью и даже разнонаправленностью изменений. И если в нем можно обнаружить вектор прогресса, то следует учесть, что он скорее равнодействующая величина, спонтанно возникшая от сложения многочисленных разнородных факторов. Новый этап в культуре, даже если он ретроспективно и признан высшим, вовсе не означает, что все ее элементы превосходят предшествующие. На самом деле какая-то часть культуры просто наследуется, другая же переживает процесс деградации. Конвенционально определяется то направление культуры, которое признается и прогрессивным, и определяющим, принадлежащим к мейнстриму.

**Современная культурная ситуация в России.** Перейдем к анализу современной культурной ситуации в России. Ее содержание можно описать при помощи двух концептов: культурных разрывов, характеризующих тип взаимодействия между освоенными и разученными социальными технологиями, и генезиса новой культуры в условиях непреодоленного шока. Примем в качестве гипотезы, что *оба этих концепта не противоречат друг другу, более того, являются взаимодополняющими.*

Представим культурные разрывы, чей источник можно обнаружить в советском прошлом. Для характеристики советской культуры вполне применима метафора: социалистическая по форме, агрегатная по содержанию. В течение трех поколений общество принимало социалистическую идеологию с ее набором ценностей, нарративом, производными от нее ритуализированными практиками. Под новой оболочкой, однако, сохранились и воспроизводились самые архаичные образы мира, а с ними вульгарный экономизм, общинное сознание, нормативное поле подданничества и господства. Было бы упрощением описывать эту культурную ситуацию через призму противоречий между передовым мировоззрением и отсталым коллективным сознанием. На самом деле социалистические идеалы, выраженные в сугубо рациональной, более того, в научной форме, по своему содержанию были вместилищем древнейших представлений о мире и человеке.

Основной функцией идеологии можно считать процедуру примирения разных культур, «снятие» их пиковых значений, перевод не совпадающих друг с другом вербальных практик в единый дискурс, создание табуированных зон для рефлексии и повествования. Задача переработки коллективных

представлений в позитивное и популярное научное знание — именно на это претендовала социалистическая идеология — ею решена не была. Социалистическая идеология осталась покрывалом, под которым не только сохранялись, но воспроизводились и развивались самые разные культуры — от наиболее архаичных до модернистских, буржуазных по своей природе. Наиболее жизнеспособными, как выяснилось позже, были те элементы социалистической идеологии, за которыми угадывались тяга к патернализму, восходящий к общине образ имущественного равенства, языческие верования в земную справедливость владык, эсхатологические надежды на счастливый финал большой жизни и практики насильственного переустройства мира. Именно они формировали социальные технологии, принятые и освоенные советскими гражданами, или, иначе говоря, массовую социалистическую культуру в ее повседневном обликии.

Повторим вслед за Б. Дубиным вопрос: «Что происходит с культурой после современного общества или общества, где модерн (как в обществе, где мы с вами живем) не состоялся или, точнее сказать, постоянно не “состаивается”, где его начаткам или осколкам постоянно не удается включиться в общий горизонт, в коллективную работу и развиваться дальше как процессу? Развиться так, чтобы в него втягивались разные группы, разные поколения и т. д. Так что еще большой вопрос (точнее — целая серия вопросов), в какой мере под нашими небесами правомерно говорить о модерне и современном обществе, а стало быть — об истории и культуре» [2]. Попробуем найти ему ответ.

Демонтаж идеологии освободил скрывавшиеся под ней силы, большей частью архаические. Другие ценности и нормы, связанные с индустриальным проектом, потеряли свою притягательность, были вытеснены наивным и грубым экономизмом. Социальные практики нового типа (стратегии поведения на рынке, адаптация к конкурентным отношениям, включение в политический процесс — пусть только в виде участия в избирательных кампаниях) были и остались отягощенными культурным шоком. Крушение социалистических институтов, растянувшееся на целое десятилетие, отразилось на мировосприятии нескольких поколений, сделало проблематичной процедуру самоидентификации, поколебало устои повседневности, лишило смысла освоенные поведенческие стратегии. В такой ситуации новая культура рождается в грубом, лишенном прежней эстетики виде. Ей присущи размытые, сниженные нормы, частично выстроенные по криминальным образцам; в мировосприятии представлены тяготеющие к архаике образы. В поведенческих практиках причудливо сочетаются черты советского прошлого, досоветских преданий и освоенные на собственном опыте стратегии.

Культура отечественного «постсоциализма» — это во многом культура примитивных, дописьменных, донаучных социальных технологий, отсылающих к мифологическому мировосприятию. Вот показательные результаты опроса общественного мнения: 20 % респондентов доверяют науке, «...остальные 80 % допускают существование сверхъестественных сил. Нашлись и те, кто доверяет исключительно колдовству и магии» [9].

Парадоксальность ситуации можно увидеть в том, как социальные импульсы к модернизации общества повлекли за собой бунт против рациональности, «просьпание» архаичных паттернов восприятия мира и соответствующих им практик. Причем все это происходит в усложненной технологической среде, позволяющей индивиду в ручном режиме погружаться в причудливый мир фантазий, соединять друг с другом воображаемое и сущее, пребывать в одно и то же время в разных локусах освоенного им космоса, то есть жить в мифе, как и его наивные предки. Было бы преждевременным диагностировать победу архаики в современной культуре. Ей противостоят и житейские практики ориентирования в мире предпринимательства, труда и потребления, и властная культурная политика, нацеленная на реставрацию традиционалистских ценностей и поведенческих норм, и сохранившиеся научные и образовательные институты, и социальная память о ценности знаний, о былом статусе Просвещения.

Прибегнем к метафоре: панорамный вид современной отечественной культуры напоминает подтаявшую льдину в паутине разломов и разрывов — и между социальными сообществами, и между разными видами культуры. Процесс освоения новой культуры происходит неравномерно — на разных скоростях; на некоторых участках социального мира можно обнаружить попятное движение. Образовательные институты, призванные по своей социальной миссии направить культурные процессы по единому маршруту с четко определенными векторами, эту задачу не выполняют. Мы видим далеко не мирное сосуществование самых разных культур. *Сталкиваются между собой культура социалистическая, лишившаяся своей рационально-идеологической оболочки, и традиционалистская, едва прикрытая современными вербальными покровами; в конфликте участвуют архаические жизненные стратегии и грубо экономические социальные технологии. Наряду с ними появляются и элементы постмодернистской культуры.* В такой ситуации общество лишается единого языка. Социальные группы не в состоянии понять друг друга, найти возможность для компромисса, договориться об общих интересах. Происходит оукливание общества либо до атомизированных индивидов, либо до малых общин, созданных по этническому, конфессиональному, или корпоративному принципу. Метафора, заимствованная у К. Маркса: «Громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, вроде того как мешок картофеля образует мешок с картофелем» [7, 207–208], — здесь не работает. Клубни разнятся не только по размеру, но и по материалу — не столько даже по уровню доходов, сколько по освоенной культуре. Офис-менеджеры по условиям труда, разученным производственным технологиям, укладу городской жизни существенным образом отличаются от parcelных крестьян. Есть у них, однако, и нечто общее: принятие культуры подданничества в ее самой неприкрытой патриархальной форме, замыкание социальных связей в замкнутом пространстве профессионального общения, более того, трансляция своих желаний, ожиданий, мечтаний вовне — на национального лидера или вождя оппозиции.

Как и его исторический предшественник, новый человек находит свою идентичность в малых или мельчайших сообществах, часто воображаемых.

В переписи населения граждане России объявляли себя «эльфами», «гномами», «троеруссами». Чиновникам, ведающим статистикой, это показалось шуткой [13]. «Все эти “гномы” и “эльфы” порождены игровой стихией, заволаживающей наших современников, освоивших примитивные компьютерные технологии. Власть, в свою очередь, объединяет своих подданных при помощи телевизионных сигналов» [8, 304].

Для описания позиций участников современных политических конфликтов представляется более уместной метафора Гоббса: «*bellum omnem contra omnes*». Непонимание рождает фобии, и если воинственный дух не всегда проявляется в социальных конфликтах, то это происходит, скорее всего, только по той причине, что среди страхов, распространенных в обществе, значительным удельным весом обладает страх перед хаосом и беспорядком. Зато в виртуальном мире блогосферы и иных социальных сетей агрессивность в соединении с брутальностью создают особый эмоциональный фон нетерпимости, взаимных подозрений, угроз и пр.

Образы мира, в котором проживают наши соотечественники, не совпадают друг с другом, более того, они не совпадают и с историческим временем. Изменилась и технология конструирования образов: место книги все чаще занимает картинка — яркая, разноцветная, плоская. Она служит и ориентиром, и способом восприятия действительности. Коллективное сознание приобретает клиповый, или, по выражению Алексея Иванова, «пиксельный» характер. «Упрощенное, плоское штампованное мировоззрение, делающее своего носителя абсолютно адекватным происходящему вокруг. Такой тип мышления дает ответы на все возникающие вопросы. Короткие фразы — почти катехизис современной жизни. Страшно», — читаем в комментариях к роману «Блудо и мудо» [19].

Поставим вопрос, можно ли в такой ситуации описывать культуру отдельного индивида как сумму освоенных им технологий? Более правильным представляется интерпретировать ее как их агрегат — механическое соединение разных образов мира, поведенческих ориентаций, исключающих друг друга ценностей, не совпадающих поведенческих норм, рациональных и магических практик и пр. Распад культуры в ее исходной «клеточке» — в жизненном мире человека — является наиболее глубоким основанием современного кризиса отечественной культуры.

Интеллигенция, казалось бы, способная свести разные представления о мире в единое, непротиворечивое целое, произвести отбор культур, выстроить из них иерархические ряды, с этой цивилизаторской миссией не справляется. Она потерялась в современном, чуждом ей и недружелюбном мире, постепенно утрачивая свой моральный статус и экспертные функции. В интеллигентской среде рождаются и гибнут фантазмы самого разного происхождения — от утопии современного искусства, призванного сформировать постиндустриальную креативную культуру (мотто: «современное искусство — современные мозги»), до настойчивых призывов вернуться к благочестию Древней Руси.

В ситуации культурных расколов общество погружается в череду конфликтов, взаимных угроз, всеобщей подозрительности, латентной агрессивности.

ти и социального аутизма, что ставит под сомнение возможность культурной модернизации.

Если считать культурную модернизацию второочередной задачей, тогда оптимальным выходом представляется «замораживание» ситуации. Есть несколько общих символов, позволяющих нашим соотечественникам идентифицировать себя со страной: ее имя, президент, телевизионная картинка, кириллица, общие выходные дни. С помощью этих скреп можно собирать людей в воображаемое сообщество, не отличающееся, однако, ни крепостью уз, ни балансом интересов.

Возможны также две стратегии обновления культуры, апробированные историческим опытом XX столетия. Первая — внедрение «сверху» новых культурных образцов, взятых в готовом виде либо из доктринальных теорий, либо из «передового опыта» иных стран. Вторая предполагает «традиционализацию» новшеств, перевод их на язык национальной культуры. Обе стратегии не исключают культурные конфликты в самых разных формах, только в первом варианте сопротивление традиционалистов преодолевается репрессивными мерами, а во втором — компромиссами, поиском путей модернизации, доступных и привлекательных для различных сообществ. В любом случае обновление культуры возможно только в рамках большого Просвещенческого проекта, рассчитанного на все общество и продолжительностью в одно-два поколения.

Риски первой стратегии известны: отторжение большинством населения чужой культуры — даже в виде социального взрыва.

*Риски второй стратегии коренятся в незрелости ее культурных предпосылок. Имеются в виду все дальше расходящиеся векторы поведенческих ориентаций различных социальных группировок и сообществ; готовность к насилию, закрепленная в литературной и устной традициях; наконец, грубость политической культуры, характерная для всех «этажей» и «квартир» российского государственного дома.*

Для того чтобы двинуться по пути культурной интеграции, необходимы и политическая воля верхов, и доверие к ним со стороны экспертных групп, и отчетливо выраженные стремления больших и малых сообществ.

В настоящее время культура современного российского общества не может быть описана как «сумма технологий», взаимно дополняющих друг друга, но как конфликт социальных технологий, фактически парализующий способность общества к установлению и поддержанию нового признанного социального порядка.

---

1. Бурдьё П. О символической власти // Социология социального пространства. М. ; СПб., 2007. С. 87–96 [Электронный ресурс]. URL: [http://ec-dejavu.ru/p-2/Power\\_Bourdieu.html](http://ec-dejavu.ru/p-2/Power_Bourdieu.html) (дата обращения: 02.04.2012).

2. Дубин Б. Культуры современной России // Лекция Бориса Дубина [Электронный ресурс]. URL: <http://www.polit.ru/lectures/2008/01/31/culture.html> (дата обращения: 07.01.2011).

3. Левада Ю. А. Культурный контекст экономического действия // Памяти Юрия Александровича Левады / сост. Т. В. Левада. М., 2011. С. 367–380.

4. *Лейбович О.* Социальная природа культурного шока в исторической перспективе // Социальные трансформации в российском обществе. М., 2004. С. 267–276.
5. *Лейбович О.* «Культ преступления, разврата и тотального бесстыдства...»: Историко-культурный контекст происхождения современной культурологии // Понять образование...: Исторические, социологические, антропологические очерки современного образования в России. Пермь, 2009. С. 98–119.
6. *Маркарян Э. С.* Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
7. *Маркс К.* 18 брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2 изд. М., 1957. Т. 8. С. 115–217 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/History/Article/marx\\_18.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/marx_18.php). (дата обращения: 07.03.2011).
8. Разрывы и конвенции в отечественной культуре. Пермь, 2011.
9. Россияне находятся в Средневековье. 21.04.2007 [Электронный ресурс]. URL: <http://socioline.ru/news/rossiyane-nahodyatsya-v-srednevekove> (дата обращения: 03.01.2013).
10. *Уайт Л. А.* Энергия и эволюция культуры // Работы Л. А. Уайта по культурологии (сборник переводов). М., 1996. С. 97–125.
11. *Файнбург З. И.* К вопросу о понятии культуры и периодизации ее исторического развития (Некоторые проблемы методологии) // Проблемы теории культуры в системе общественных наук. Вып. 1. М., 1976. С. 25–30 (Экспресс-информация).
12. *Файнбург З. И.* Смена исторического типа культуры в условиях современности (некоторые вопросы методологии проблемы) // Изв. Северокавказ. науч. центра высшей школы. Общественные науки. 1978. № 1. С. 28–4.
13. «Эльфы» и «сибиряки» могут пополнить список национальностей Росстата. 2011. 5 апр. 18:32 [Электронный ресурс]. URL: [http://novosibirsk-news.ru/global\\_stories/1067](http://novosibirsk-news.ru/global_stories/1067) (дата обращения: 06.04.2012).
14. *Bauman Z.* Culture as Praxis. New edition. L. ; Thousand Oaks ; New Delhi, 1999.
15. *Blanc M.* Cultural Policies against Social Inequalities in “Disadvantaged” Neighbourhoods: the French politique de la ville in Strasbourg // Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verh. des 32. Kongr. der Deutschen Ges. für Soziologie in München. Teilbd. 1 und 2. Rehberg, Karl-Siebert (ed.); Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, 2006. S. 2907–2914. [conf. paper] [Electronic resource]. URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-143291> (дата обращения: 20.03.2013).
16. *Bourdieu P., Passeron J.-C.* Les Héritiers: Les étudiants et la culture. P., 1964.
17. *Fumaroli M.* L'Etat culturel: Essai sur la religion moderne. P., Fallois, 1991.
18. *Kroeber A. L., Kluckhohn C.* Culture: A critical review of concepts a. definitions. Papers of the Peabody museum of American archaeology a. ethnology 47. Cambridge (Mass), 1952.
19. *Suhan\_ilich | 2007-09-28* [Electronic resource]. URL: <http://fantlab.ru/work21669> (дата обращения: 06.03.2012).

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 316.723:008 + 7.011.3

Е. П. Неменко

## ТРАНСФОРМАЦИИ СОВЕТСКОГО ГАБИТУСА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ: МЕЖДУ КРУГОМ ДРУЗЕЙ И ТУСОВКОЙ

В статье рассматриваются специфика советского художественного габитуса и тип социальных связей и общностей, которые возникают в результате его трансформации в современном художественном сообществе. Предпринята попытка выявить структуру и функционал горизонтальных дружеских связей в российской художественной среде и проанализировать их посредством проблематизации концепта автономии искусства на «стыке» с вызовами современности.

**Ключевые слова:** современность, габитус, художественная среда, круг друзей, тусовка, автономия искусства, дружеские связи, фрагментация социальной структуры, персонализм, прагматизм.

Современное российское художественное сообщество представляет собой сложный и неоднородный ансамбль практик и дискурсов, подчиняющихся различным, иногда прямо противоположным, режимам ценностей. Разделительные линии проходят как между творческими группами, так и на уровне габитусов отдельных художников. Радикально изменившаяся структура поля культурного производства в постсоветский период затрудняет вычленение преемственности или разрывов сложившихся культурных процессов с советскими художественными практиками. На самом деле, какой бы радикальный политический и экономический перелом не пережила страна в начале 1990-х гг., значительную часть художественного сообщества составили художники с советским габитусом, чье активное творчество пришлось на 1960–1980 гг. Именно они формируют новые иерархии в поле культурного производства. Не ставя задачи описать все художественное сообщество, мы ограничимся исследованием тех его сегментов, в которых наиболее ярко прослеживается трансформация советского художественного габитуса в современных условиях.

В центре исследования — формы социального взаимодействия в художественной среде, проявляющиеся как эффекты габитуса художников. Эти формы структурируют художественное сообщество и оказывают влияние на производимый им культурный продукт и на способы его циркуляции. Мы используем понятие «габитус», сформулированное Пьером Бурдьё в «Началах»: «Габитус, как система предрасположенностей к практике, является объективным фундаментом упорядоченного поведения, а следовательно, упорядоченности поведения» [2, 119]. Понятие габитуса связано с концептом практик — нерелексивных рутинных действий, которые составляют фон осмысленных действий и высказываний агентов. Именно набор этих практик, которые сами по себе не попадают в фокус внимания агентов в их повседневной и профессиональной жизни, структурирует на глубинном уровне схемы и оппозиции, задающие осмысленность действий и высказываний внутри данного

социального пространства. Важным аспектом габитуса является установка на успешное действие. Наша задача — выявить такие фоновые практики в художественной среде, которые определяют социальные формы ее функционирования и влияют на сам художественный продукт, но которые не замечаются и не рефлексировываются художниками, а воспринимаются ими как «естественные».

Ракурсом рассмотрения габитуса советского и современного художников является для нас проверка его совместимости с идеей автономии. Предполагается, что профессиональные сообщества модерного типа имеют в своем основании ценность автономии творчества, что следует понимать не как абсолютную свободу творца, но как относительную независимость сферы искусства от других сфер социального пространства и наличие в ней собственных правил и профессиональной этики. Габитусы входящих в поле искусства художников в силу логики распределения в нем символического капитала склонны к тому, чтобы организовывать производство и коммуникации по его поводу в соответствии с автономной логикой. Кроме того, автономия как проблематичный концепт предполагает рефлексии художественного сообщества о границах собственной независимости, усилия по рационализации субъективного опыта, что и делает художественное творчество культурно значимым, размещает его результаты внутри сети культурных институтов и других продуктов культуротворческой деятельности. Необходимо понять, насколько непроблематичны и естественные для советских и современных художников формы и способы организации художественной среды соотносимы с концептом автономии и, следовательно, могут квалифицироваться как современные.

Для того чтобы проанализировать эту проблему, мы обратились к исследованию *структуры и функционала дружеских связей в художественной среде*. Мы называем условно «дружескими» такой тип связи с «близкими» и «значимыми» другими, который характеризуется не аскриптивными признаками, а субъективной, частной оценкой характера межличностных отношений (хороший — плохой, близкий — далекий). То есть дружеские связи представляют собой тип избирательного сообщества [4].

Анализ условно дружеских связей представляет интерес с методологической точки зрения. Такой тип анализа работает как со структурами, так и со смыслами и интересами самих акторов, которые они вкладывают в свою практику. Другими словами, это анализ *горизонтальных структур*, который выявляет не вертикальные границы (отношения господства/подчинения), но горизонтальные границы (отношения доверия/участия, авторитета/уважения, внимания/влияния), т. е. действия, основанные на *принятии Другого*.

На связи с «модерностью» посредством проблематизации концепта автономии будут исследованы два существующих в современном художественном сообществе типа горизонтальных связей: *дружеский круг* и *тусовка*. Для понимания роли дружеских сетей в формировании художественных нравов нами был использован метод качественных исследований, глубинных интервью современных российских деятелей искусства. Были взяты шесть глубинных интервью профессиональных деятелей художественной культуры Екатеринбу-



бурга в возрасте от 40 лет, т. е. начавших свою профессиональную карьеру в поздний советский период и продолжающих активно работать в настоящее время. Из шести интервьюируемых четверо являются профессиональными художниками, один информант идентифицирует себя как бард и один информант — как профессиональный поэт. Интервью были взяты в течение 2012–2013 гг. в рамках исследовательского федерального целевого проекта «Нравы как социокультурный феномен в модернизирующейся России» (Госконтракт № П 433 от 12.05.2010). Для проведения интервью длительностью 90 минут был составлен тематический сценарий вопросов — гайд, состоящий из нескольких блоков: 1) социальные, творческие и дружеские связи в прошлом; 2) общая информация о существующем положении дел; 3) социальные, творческие, дружеские связи в настоящий момент; 4) функционал дружеских отношений; 5) причины прекращения дружеских связей. Предложенные ниже выводы распространяются, как нам видится, на тех участников художественного процесса, кто позиционирует себя как «некоммерческий» художник, т. е. определяет и свою деятельность, опираясь на правила автономного поля искусства. Как правило, эти авторы используют риторику «высокого искусства», «подлинной эстетической ценности», «моральности» и «социальной ответственности».

### Габитус советского художника

Чтобы понять, с каким именно «советским» габитусом мы имеем сегодня дело, необходимо прояснить его особенности, которые сформировались в позднюю советскую эпоху. Для этого мы обратимся к классификации неофициального искусства 1960–1970-х гг., предпринятой И. Кабаковым [6]. Эта классификация представляет для нас интерес, потому что она строится не на исследовании вертикальных зависимостей, таких как «художник — власть», но на исследовании отношений «по горизонтали» (художник — произведение, художник — зритель, художник — другой художник). В структуре неофициального искусства 60-х гг. И. Кабаков выделяет три слоя:

1. «Средний» слой художников-«профессионалов», нашедших своего зрителя и стабильно работающих на продажу. У таких художников время изготовления произведения было включено в «социальное время»: равномерно распределено время жизни-быта, время работы, время отдыха. Они прекрасно резонировали со своим зрителем и со средой. Самым ярким представителем этого типа художника был Оскар Рабин, но также Юло Соостер, Юрий Соболев и др.

2. «Нижний» слой художников-«экзистенциалистов», ориентирующихся только на себя — как на производителя и на зрителя своего искусства. Творчество для них не «культурное», а «экзистенциальное» действие. Такие художники работали спонтанно, не искали покупателей и зрителей. Многие из них были «черной богемой», например, Олег Целков или Игорь Ворошилов. Производство художественного продукта было для таких художников терапией, способом наладить нормальный биологический ритм собственного

существования. «Социальное» время их было равно нулю. Их воздействие на окружающих было незначительно, они направлены вовнутрь. И. Кабаков называет такие художественные практики «домашним рисованием»: «художники не знают и не думают, куда им можно было бы встроить их художественную продукцию. Результаты рисования возникали как бы сами собой, не соотносясь ни с какой школой, ни с каким Гранд-артом» [6, 218].

3. Третью категорию составляли художники-«мистики», которые, как и «экзистенциалисты», были изолированы от внешнего мира рамками неофициальной культуры, но пытались установить контакт, связаться в своем деле с сильными, значительными уровнями и волнами, существующими за пределами подполья. Невозможность подключиться к где-то там непрерывно текущей Истории искусства рождала воображаемые связи и нити в представлениях художников. «В своем воображении каждый художник мог выбрать любую внутреннюю связь, любой период, любой метод и прилепиться к нему. Личная выношенность, рожденность внутри себя этих связей и эволюции искусства, его смысла и назначения приводит к фантастической абсолютизации его форм, мистике его происхождения» [Там же, 62]. Такой подход к культурным значениям как к абсолютным, а к искусству как к непреходящей ценности назывался «нетленкой». «Вся художественная продукция, отношение к ней были пронизаны иррациональным, “высшим” смыслом, все носило печать неземных особых значений, мистического происхождения (“духовка”»)» [Там же, 65].

Тенденции к онтологизации искусства, широкое распространение религиозного и «метафизического» дискурса в художественной среде 60-х гг. И. Кабаков связывает с отсутствием нормальных промежуточных звеньев культуры, неполноценностью институционального существования неофициального художника: «Не ангажированный ни в какую структуру, не обязанный в своей работе никому и ни в чем, предоставленный в этом выборе только самому себе, он прикасается прямо, не опосредованно культурными институтами, к глубинным вопросам своей деятельности. Он в силу своей “выброшенности” становится “онтологическим путешественником” и должен ответить в своей работе на первичные вопросы бытия, чтобы оправдать свою жизнь и работу» [Там же, 70].

Парадоксальным образом такое «мистифицированное» искусство наделялось важнейшими характеристиками «подлинности», «истинности», «реальности». Это связано с тем, что в условиях официальной массовой культуры художественной деятельности неофициальных художников придавались очень важные функции — функции обретения реальности, истины, основания. Следует отметить, что «дискурс подлинности» является одним из центральных в художественной критике общества массового потребления в послевоенной культуре Европы [1]. В советской его версии «дискурс подлинности» питался идеей самоспасения художественного сообщества, которое не претендовало на выработку хоть какого-то общезначимого культурного проекта.

Поиски подлинности в искусстве также связаны с двойственностью социального существования, с «социальным корпоративным двоемыслием» [3], когда от человека требуется «играть» разные роли: для себя, на людях, со «своими»,

для начальства. «Появление неофициального искусства — реакция на эту раздвоенность, предположение, что в своей художественной практике человек может и должен делать то, за что он лично несет ответственность. Персонализм и есть попытка утверждать: я и внешне делаю то, за что внутренне отвечаю» [6, 204]. Для неофициального художника проблематична раздвоенность: это — для «них», а это — для себя, «в стол». Если сам Кабаков разделяет работу ради заработка (иллюстратор детских журналов) и собственно искусство, то многие его друзья пытаются уйти от этой раздвоенности, рисуя всегда с одинаковой отдачей (Ю. Соостер) или зарабатывая своим искусством (О. Рабин).

Множественность социальных ролей и режимов действия в принципе характерна для усложняющихся модернизирующихся обществ. Но тоталитарное мышление решает эту проблему не путем ее рационального осмысления, а путем чисто механической редукции, ухода от этой сложности в «подлинное» творческое существование. Мысля тотальными категориями без нюансов и оттенков («Культура», «Истина», «Народ», «Власть», «Запад»), масштаб которым задан уровнем претензий, неофициальный художник как нельзя лучше воспроизводит в «дискурсе подлинности» сам способ организации тоталитарного сознания.

На уровне практики этому дискурсу соответствовал «подпольный» образ жизни неофициальных художников. «Критериями порядочного социального поведения могли считаться либо неучастие, маргинальность как сознательная позиция и сопротивление официозу, либо акцентированно, демонстративно деидеологизированная работа, как правило, заключающаяся в консервации всего того, что способствует сохранению неофициальной и высокой культуры, ее спасению от уничтожения или забвения» [3, 140].

В художественном творчестве тоталитарное сознание неофициальных художников выражалось, с разной степенью интенсивности, в производстве перегруженных, перенапряженных, энергетически чрезвычайно сильно заряженных символов и образов космического масштаба. Наиболее распространенный тип художника 1960-х гг. — это гений, как бы родивший самого себя, который будто бы и не нуждается ни в каком прошлом, ни в какой традиции или школе. «Он глубоко уверен: все, что он рисует, не может быть ни на что похоже, рожденный им мир — это шар, висящий в космической пустоте. Эта невключенность, неангажированность художественной личности является чуть ли не само собой разумеющимся принципом для абсолютного большинства художников 60-х» [6, 225].

Интересно отношение неофициального искусства к своему зрителю. С одной стороны, оно ищет конкретного, индивидуального адресата, к которому имеет смысл обращаться в противоположность анонимной массовой официальной культуре, которая, обращаясь ко всем, никому конкретно не нужна, в том числе и ее производителям. С другой стороны, отношения с адресатом выстраиваются не в форме диалога, как следовало бы ожидать, когда речь идет о потреблении автономного произведения искусства. Зритель, если он появлялся (что случалось не всегда, так как практики открытых выставок, показов работ нейтральному зрителю практически отсутствовали), должен был быть

соучастником автора, подпадая под его влияние, демонстрировать свой восторг и изумление. Такие показы часто напоминали практики гипноза и носили ритуальный характер. Важно, что не было не только нейтрального зрителя, но и нейтрального места показа своих картин, все происходило в пространстве самого художника, т. е. в его квартире, и это помогало «втягиванию» зрителя в ситуацию, его соучастию. В результате возникал своеобразный синкретизм картины, самого показа и личности художника [9, 259–260]. В целом отношения автора и зрителя повторяли иерархическую структуру дисциплинарной власти (вождь — толпа, учитель — ученик, пророк — адепт, доктор — пациент).

В результате этих процессов были произведены два феномена. С одной стороны, ярко выраженный *персонализм* в художественной среде, т. е. перегруженный харизматическими и индивидуалистскими коннотациями дискурс обоснования творчества как сверхценного и подлинного явления, не уравновешивавшийся ориентацией на Другого. Поэтому чрезвычайно трудно выстраивать горизонтальные связи в художественной среде, постоянно настаивающей, что ни другие художники, ни зрители для нее не важны. Художник оказывается как бы подвешенным во времени и пространстве, окаменевшим. Такой дискурсивной стратегии соответствует и художественный продукт, производимый как бы в никуда, в пустое пространство, не выстраивающий никаких связей и отсылок.

С другой стороны, *фоном персоналистского дискурса в неофициальном искусстве 1960-х гг. было формирование разветвленных сетей неформальных дружеских связей*, поддерживающих функционирование художественного сообщества в ситуации отсутствия нормальных институтов культуры. Трансформация советского габитуса и связанных с ним сетей дружеских связей в художественном сообществе определяется процессом, который Борис Дубин характеризует как «разрушение корпоративной интеллигентской солидарности» [5]. Условно можно выделить две «горизонтальные» структуры, порожденные в ходе этого процесса: круг друзей («своих») и тусовку.

### Круг друзей

Как показывает исследование коллектива ученых Европейского университета Санкт-Петербурга «Дружба: очерки по теории практик» [4], одной из устойчивых форм общения в современном российском обществе является общение в кругу друзей, или в кругу «своих». Круг друзей характеризуется, с одной стороны, легкостью коммуникации внутри круга, наличием «общего языка» и общей рамки референций, которые облегчают затраты на «перевод», а с другой стороны, закрытым для посторонних кодом, служащим средством поддержания коллективной идентичности и своего рода «общей вещью» компании.

Применительно к художественному сообществу этот процесс проанализировал Б. Дубин: «Фрагментация общего мира в современной российской культуре выражается для культуротворческих групп в постоянных процессах производства, поддержания и демонстрации условных, символических границ своих

микросообществ, клубов, кружков, компаний, проведении рамок демонстрации и восприятия знаков “своего” или “нашего”, а не в поисках и создании новых содержательных значений и образцов, тем более образцов универсалистских, ориентированных на всеобщее. Изоляционизм (фрагментация) и демонстративность (церемониальность) — составные части одного феномена» [5, 14].

Тенденции к образованию замкнутых неформальных коллективов характерны для современной социальной структуры, но для сферы культуры это имеет особые последствия. Во-первых, групповые интересы, направленные на самосохранение маргинальных форм художественной деятельности, символической общности «своих», начинают отодвигать на второй план собственно творческие задачи и критерии художественной ценности, возможности рефлексивной самокритики и самоанализа. Групповые нормы существования, групповые критерии и оценки творчества становятся единственным средством самосохранения группы. Во-вторых, привычка к признанию своей работы только среди «своих» ведет к незаметной стагнации творческой работы, замораживанию культурных, эстетических, моральных представлений, разделяемых данной группой [3, 140–141]. В-третьих, добровольная маргинализация сообщества, внутреннее дистанцирование от «системы», идеологии, истеблишмента с его чинами и наградами (например, Союза писателей), рыночных форм распространения и циркуляции художественного продукта (например, продюсирование, реклама) являются не только способом обретения «свободы творчества», но и символической интеграцией «своих». Но такая позиция социального неучастия и незаинтересованности во внешнем мире все больше удаляет от понимания и анализа настоящего, т. е. такие творческие группы практически не в состоянии рационализировать настоящий субъективный опыт и повседневность, а значит, выполнять нормальные функции по производству и циркуляции общезначимых культурных образцов и смыслов.

Наиболее близко к описанной модели закрытого микросообщества расположены творческие группы, которые в поздний советский период занимали промежуточную позицию между официальной и неофициальной культурой. В нашем исследовании такую модель представил бардовский музыкант: в советское время бардовское сообщество было частично институционализировано (клубы бардовской песни, фестивали), но в профессиональные музыкальные сообщества бардов не пускали. Информант чувствует себя комфортно в кругу «своих» музыкантов — бардов и поэтов, свои собрания характеризует как «встречи для души». Встречи проводятся среди «своих» и «для себя». Они проходят в неформальной обстановке, чаще всего на квартирах. «Своих» от чужих он отделяет по критерию «снобизма». Его друзья простые, «без претензий»:

*Ну... в моей среде и в среде моих друзей нет никаких снобов.*

«Своим» музыкантам противопоставляются «снобы» — музыканты-академики, а также члены Союза музыкантов и других формальных объединений. Хотя эта разделительная линия условна, в кругу информанта есть друзья — члены Союза:

*Музыканты-академисты к нам, бардам, относятся снисходительно... К организаторам могут подойти эти люди и сказать: а что это я вообще с бардами и что вы меня сюда засунули, в это отделение, я вообще не буду выступать! Я вот заслуженный артист филармонии, а вы меня в самодеятельность какую-то...*

Для дискурса дружеского круга характерен аргумент о том, что по-настоящему творческим людям не нужны никакие формальные объединения. Неумение бардов объединяться информант интерпретирует как позитивное качество, проявление стихийного творческого склада характера:

*...среди бардов не было никогда [никаких формальных объединений] и я очень надеюсь, что никогда не будет... А люди творческие в этих объединениях, по-моему, не нуждаются вообще.*

Другая линия разделения проходит между «своими» бардами и более успешными в рыночном отношении столичными музыкантами, которые встроились в денежные потоки, прибегая к помощи продюсеров, PR-менеджеров и других специалистов. Информант мало интересуется событиями за пределами своего бардовского сообщества, более экономически успешные бардовские проекты его не волнуют, он не знает, что это за среда и как она работает. Финансовая и медийная составляющие успеха никак не обсуждаются:

*...он замечательный бард. Ну и что тут обсуждать? Но ему повезло, он просто попал в эту тусовку, а я не попал. Мои песни не хуже и не лучше, они такого же уровня. Но он раскрученный, он в обойме, а я нет, вот и всё, больше ничего.*

Информант и его окружение в основном не нуждаются в поддержке современных организаций и технологий продвижения и распространения своего художественного продукта. Его круг, построенный как плотная дружеская сеть, кажется автору вполне самодостаточным. В частности, друзья помогают ему в решении организационных и других практических вопросов. Критики, продюсеры, издатели возникают на периферии этого круга как малозначимые фигуры:

*Сейчас этот формат, так называемый продюсерский, мне непонятен. Все сейчас почему-то считают, что они без продюсера никуда. Ну так сам себе продюсером и будь!*

Таким образом, описанный тип общения в кругу друзей, демонстрирующий выраженную преемственность по отношению к советским формам коммуникации, базирующихся почти исключительно на дружеских связях, меньше всего озабочен «стыками» с модерностью; его эстетический выбор никак не резонирует с современностью, с современными формами общностей, а следовательно мало что для них значит.

## Тусовка

Другой тип «посткорпаративного» сообщества, который также основан на дружеских связях, представляет тусовка. Явление тусовки в отношении к мос-

ковскому художественному сообществу впервые было пранализировано социологом и куратором современного искусства В. Мизиано [8]. На наш взгляд, именно феномен тусовки наиболее адекватно выражает трансформации персонализма советских неофициальных художников. Тусовку, как правило, образуют сообщества, претендующие на легитимность и общекультурную значимость. То есть ядро тусовки, в отличие от микросообществ «своих», составляют художники, занимавшие в советский период доминирующие позиции.

В. Мизиано анализирует тусовку как посткорпоративный и постдисциплинарный, предельно персонализированный тип сообщества. Тусовка возникает в результате распада дисциплинарной культуры и социальных иерархий. Это сообщество скреплено не корпоративной солидарностью, не производственным циклом и не институциональной структурой, но чисто эмоциональным фактором: люди встречаются, потому что хотят быть вместе. Но, в отличие от узких дружеских кружков «своих», тусовка открыта, ею движет надежда в скором времени получить признание власти и встроиться в денежные потоки.

Поскольку тусовка возникает на месте разрушенного символического порядка, то сама постоянно стремится породить новый символический порядок. Это выражается как в постоянных проективных устремлениях тусовки, так и в культе ярких харизматических индивидуальностей, сильных лидеров, энергией которых движимы тусовщики. В результате тусовка живет лихорадочными проектами, на которые ее вдохновляют харизматичные лидеры, и очень часто такие проекты бывают привязаны к личности лидеров, они не способны воспроизводиться самостоятельно. Претензии проектов, как правило, имеют глобальный масштаб: «Если вынашивается какой-то проект, то это непременно Международный фестиваль или Московская биеннале; если речь идет о каком-то художественном учреждении, то это по меньшей мере будущий Центр Помпиду, а если о журнале, то это непременно русский Flashart» [8, 357].

Как и некоторые неофициальные художники, лидеры тусовки поддерживают вовлеченность тусовщиков в сообщество за счет возгонки эйфории, а перспективы проекта определяются степенью персональной одержимости его автора. При этом тусовочное сообщество ориентировано на будущее, исполнено ожиданиями новых проектов и стремлением включиться в коммуникации с властью и бизнесом. Поэтому персоналистский дискурс тусовки не должен вводить в заблуждение: тусовка — прагматическое сообщество, его участники ожидают в ближайшем будущем получения дивидендов от участия в тусовочных мероприятиях в виде предложений участия в новых проектах.

Тусовка — это сериальное сообщество, оно воспроизводится благодаря повторяемости встреч. Тусовочное сообщество также полностью базируется на межличностных связях и практически не имеет институционального измерения [7]. Но, в отличие от круга друзей, тусовка не представляет собой интимного пространства духовно близких людей, чьи отношения строятся на безусловном доверии. Для тусовки не свойствен дискурс доверия, скорее, в тусовке собираются «полезные» люди, хотя не исключены и теплые дружеские отношения.

Самая главная особенность дискурса тусовки — его неспособность к самоанализу. «Ведь символический порядок — это и есть источник порождения смыслов, он и есть предпосылка всех возможных высказываний. А потому высказывание от имени символического порядка освобождает тусовочного лидера от необходимости вскрывать методологию своего высказывания, аргументировать его, предъявлять доказательства» [8, 358].

Материалы нашего исследования показывают, что тусовщика в чистом виде, как его описывает В. Мизиано, в екатеринбургском художественном сообществе нет, но есть смежные, гибридные типы. Для тусовки не свойственны чаепития и посиделки, ритуальные демонстрации произведений, характерные для узкого круга «своих»; тусовка периодически собирается в нейтральных местах, чаще всего на вернисажах и выставках. Художники-тусовщики, хоть и посещают мероприятия тусовки, имеют «свою жизнь»: у них часто бывают близкие друзья — нехудожники, время между работой и отдыхом четко разделено. Тусовка и «непрофессиональные» дружеские связи четко разграничены. Встречи с близкими друзьями не имеют прагматических коннотаций, а потому, когда речь идет о близких друзьях, термин «тусовка» не используется информантами.

*Ну, на таких тусовках все равно надо бывать иногда, чтобы о себе напоминать определенным людям... Но друзья — это друзья, мы с друзьями просто так встречаемся, без определенной цели.*

В нашем случае гибридную модель тусовщика-индивидуалиста представил современный художник. Его дискурс наполнен пренебрежительными репликами в отношении друзей, он все время настаивает, что они у него есть, но он не дорожит этим даром:

*Я бегу от друзей... Мое творчество — это божье откровение, это индивидуальный процесс... Бог наградил меня друзьями, но я нисколько этим не дорожу, избегаю друзей. Для творчества мне нужно уединение, спокойствие.*

При этом он постоянно возвращается в тусовку (т. е. постоянно посещает значимые места и мероприятия), «продвигает» на выставки картины своих друзей (которыми «не дорожит»), а единственным для него критерием успешности является возможность продать свою работу. Такое противоречивое поведение и крайне запутанный, эмоционально нагруженный дискурс характерны для тусовки, ведь она сочетает в себе почти неограниченный персонализм с прагматикой целей.

Так же и другой информант прагматически оценивает тусовку как круг «важных людей», знакомство с которыми помогает «продвинуться»:

*Я хожу туда, чтобы посмотреть, что делают другие. Кроме того, для меня важно найти людей для следующего проекта. Это не всегда выставки. Вот сегодня, например, идем на концерт джазового музыканта, там все важные люди будут.*

На таких встречах важно просто периодически бывать, появляться, чтобы «о тебе помнили»:



*Например, когда кому-то рекомендуют художника, многие люди из тусовки вспоминают обо мне, рекомендуют меня... Даже если я на какое-то время исчезаю, они имеют меня в виду, шлют приглашения...*

Таким образом, тусовка функционирует как сериальное сообщество людей с общими профессиональными интересами, а потому оно шире дружеского круга и включает в себя «нужных» людей. Тусовка — прагматическое сообщество, оно максимально открыто новым проектам и предложениям.

Тусовка является важнейшим социальным механизмом, организующим фонем появления персоналии, индивидуального художника в мире искусства в посткорпоративную эпоху. Несмотря на сериальный характер этого сообщества, у тусовки есть память. Вращаясь в тусовке постоянно, храня ей верность, художник зарабатывает кредит доверия, накапливает социальный капитал, от объема которого зависит размер сети его контактов, а следовательно, количество потенциальных предложений. Поэтому тусовка является типом локального сообщества, «она помнит только то, что видит». Необходимо длительное личное присутствие в тусовке, чтобы накопить значительный социальный капитал. В наших интервью нам не встречался тип тусовщика-конформиста, гибкого, легко меняющего идентичность и ослепленного харизмой тусовочных лидеров. Скорее, все наши информанты сохраняют известную дистанцию по отношению к тусовочным лидерам и довольно расчетливо используют тусовку в достижении своих прагматических целей.

Анализ советского габитуса и его трансформаций в художественной среде показывает, что сформировавшиеся в постсоветском художественном сообществе основные способы организации художественной среды — дружеский круг и тусовка — обнаруживают выраженную преемственность с советскими формам коммуникации. Дружеский круг включен в сеть личных связей как закрытое микросообщество, окруженное субкодами, тайной и ритуалами. В данном случае, как нам представляется, эта сеть работает не на прирост новаций в художественном поле, а на решение проблем частной жизни автора и его адресатов. Тусовка — более публичный тип сообщества, она постоянно открыта для сотрудничества с властью и бизнесом, свободно использует медиа и новые технологии в достижении своих целей. Тем не менее тусовка унаследовала от советской неофициальной культуры мышление тотальными категориями, культ сверхсильной творческой индивидуальности и неспособность к самоанализу. Лидер тусовки по-прежнему играет в старую игру российской и советской интеллигенции «Если бы я был директором», т. е. примеряет на себя роль субъекта власти [3, 134]. Проектное экспансивное мышление тусовки ставит ее в положение зависимости от власти (либо критики, либо партнерства), зависимости, которая никак не рефлексирована.

Используя терминологию П. Бурдьё, можно предположить, что тусовка есть один из способов самоорганизации доминирующего полюса в мире искусства, так как к тусовке тяготеют те художники, которые претендуют на легитимные культурные высказывания и активно ищут своего адресата. В кружках «своих» замыкаются менее удачливые художники, обладатели меньшего

социального капитала. Тем не менее такое деление очень условно. Результаты интервью показывают, что оптимально успешной стратегией современный художник считает сочетание тусовочной активности с комфортным доверительным общением в кругу близких друзей.

Габитус советского неофициального художника, выразившийся в изоляционизме и мифологизации романтического образа творца «подлинного» искусства, задает отличное от западного понимание автономии художественного мира. В современном художественном сообществе преобладает понимание автономии как неограниченной свободы и всемогущества творческой личности; она достигается за счет фрагментации, а не за счет консолидированного взаимодействия с другими творческими объединениями и уж тем более с нехудожественными сообществами. В такой структуре художественной среды по-прежнему отсутствует главный элемент, делающий сообщество современным, — это ориентация на Другого в выработке культурных смыслов, установка на публичность, саморефлексия, которые могли бы сформировать инстанции «среднего звена», опосредующие и дисциплинирующие чрезмерный персонализм, мыслящий в тотальных категориях «или — или».

- 
1. *Болтански Л., Кьяпелло Э.* Новый дух капитализма. М., 2011.
  2. *Бурдьё П.* Начала. М., 1994.
  3. *Гудков Л., Дубин Б.* Интеллигенция. СПб., 2009.
  4. Дружба: очерки по теории практик : сб. ст. / под ред. О. Хархордина. СПб., 2009.
  5. *Дубин Б.* Режим разобщения: Новые заметки к определению культуры и политики // Pro et Contra. 2009. Янв./февр.
  6. *Кабаков И.* 60–70-е...: Записки о неофициальной жизни в Москве. М., 2008.
  7. *Мизиано В.* Институционализация дружбы // Художественный журнал. 2000. № 28/29. С. 39–46.
  8. *Мизиано В.* «Тусовка» как социокультурный феномен // Художественная культура XX века : сб. ст. М., 2000. С. 352–363.
  9. Эти странные семидесятые, или Потеря невинности : эссе, интервью, воспоминания / сост. Г. Кизевальтер. М., 2010.

*Рукопись поступила в редакцию 7 ноября 2013 г.*

УДК 351.711 + 338.24

А. Д. Трахтенберг

## ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Переход к электронному правительству рассматривается как символическая реформа, призванная обеспечить рациональную легитимацию системе государственного управления. Проанализированы источники формирования идеологического конструкта «электронное правительство»: «калифорнийская идеология» и концепция «государственных услуг», развиваемая в рамках «нового государственного менеджмента». Продемонстрированы сложности, связанные с операционализацией результатов символической реформы.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** электронное правительство, рациональная легитимация, символическая реформа, «калифорнийская идеология», «новый государственный менеджмент».

Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время превратились в «технологию № 1», главный символ и достижение общественного прогресса. Они играют в общественном сознании ту же роль, которую в XIX в. выполняли железные дороги, в начале XX в. — аэропланы, а в его середине — атомная энергия. Для информационных технологий характерен очень высокий уровень культурной значимости и социальной «заметности» («visibility»).

Однако, как неоднократно отмечал известный историк технологии Д. Эджертон [13], культурная значимость вовсе не тождественна общераспространенности и реальной экономической эффективности (напомним известное исследование Р. Фогеля, посвященное экономическим последствиям массового строительства железных дорог в США [15]). Историкам хорошо известны высокоэффективные и имеющие очевидные социальные последствия, но культурно незначимые технологии. Так, пишущая машинка стала важнейшим инструментом женской эмансипации и сильно повлияла на структуру больших организаций, однако для общественного сознания так и осталась социально незаметной. Технологии с повышенной культурной значимостью могут быть практически бесполезны (сошлемся на историю термоядерного синтеза).

Информационные технологии сочетают символическую значимость с очевидной эффективностью. Поэтому их адаптация становится важнейшей задачей для всех структур, которые претендуют на статус современных и эффективных. В первую очередь это относится к органам государственной власти, которые постоянно нуждаются в легитимации своего права на управление и контроль. В свое время Дж. Мейер и У. Роуэн показали, что новые технологии играют в государственных учреждениях не только практические, но и «мифологические» функции. Они внедряются вне зависимости от их реальной эффективности, поскольку помогают легитимировать учреждение в качестве рационально действующей и современной организации. Использование новых технологий

свидетельствует о социальной ответственности руководителей учреждения и позволяет избежать обвинений учреждения в плохой работе [24].

Мейер и Роуэн ввели понятие институционального мифа, обеспечивающего устойчивость организации путем приведения ее функционирования в соответствие с внешними критериями рациональности. При этом начинает работать механизм «институционального изоморфизма», описанный в классической работе П. Димаджо и У. Пауэлла: при проведении управленческих реформ на первом плане зачастую находится не эффективность, а легитимность — реальная отдача от реформ не важна, важен сам факт их проведения по принципу «быть как все» [11].

Естественно, для использования в функции мифа подходят только наиболее социально заметные и культурно значимые технологии, поскольку только они способны придать действиям тех, кто их внедряет, символический характер.

Приобретение технологией социальной заметности и культурной значимости — сложный социальный процесс с участием множества акторов. Применительно к информационно-коммуникационным технологиям основными акторами стали государство и научное (экспертное) сообщество. Собственно, само появление компьютеров, а затем компьютерных сетей было связано с потребностями государства и стало следствием целой серии политически значимых решений. Поэтому с самого начала информационные технологии окружала плотная «идеологическая оболочка».

В США эти технологии выступили в качестве стратегического и идеологического ответов на вызов холодной войны. С одной стороны, военное противостояние в условиях удаленности США от основного противника и традиционно настороженного отношения к «большим армиям» привело к тому, что «вместо призывной армии США предпочли пойти по пути массовой автоматизации и интеграции человека с техническими устройствами» [14, 58]. Не следует преувеличивать эффективность этого решения. П. Эдвардс посвятил один из разделов своего исследования раннего «закрытого» компьютерного дискурса описанию провала стратегии «высокотехнологичной войны», разработанной под руководством Р. Макнамары для американских войск во Вьетнаме [Там же, 134–145].

С другой стороны, потребность противопоставить коммунистической модели будущего привлекательную альтернативу породила концепцию «информационного общества» в разных ее вариациях: «постиндустриального общества» Д. Белла, «общества знаний» Ф. Маклапа, «компьютеризированного общества» Дж. Мартина, «технотронной эры» З. Бжезинского, «третьей волны» А. Тоффлера и т. п. [7]. Ключевую роль в обществе будущего были призваны сыграть информационные технологии. По подсчетам Дж. Бениджера, с 1950 по 1984 г. было предложено не менее 70 концепций, описывающих, как под их влиянием возникают новое общество и новое государство [9, 4–5]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Характерно, что сам Дж. Бениджер — автор концепции «революции контроля». По его мнению, развитие информационных технологий стало ответом на порожденный индустриальной революцией кризис контроля, когда развитие производства намного опередило развитие средств коммуникации. Выход был найден на пути создания бюрократических организаций и формирования новой телекоммуникационной инфраструктуры.

Что касается СССР, то, как показал С. Герович, идеологическую функцию в отечественных условиях стала выполнять такая дисциплина, как кибернетика, претендовавшая на роль универсального языка управления и в этом качестве на вытеснение господствующего дискурса [17]. К сожалению, объем настоящей статьи не позволяет подробнее остановиться на проблеме национальных версий кибернетики и ее идеологических функций, которая за последнее десятилетие стала предметом целой серии исследований. Для наших целей важно подчеркнуть, что с самого начала информационные технологии выполняли важнейшую символическую роль, обещая, помимо прочего, кардинальное повышение эффективности государственного управления.

В качестве американского примера сошлемся на достаточно типичную статью из «Гарвард бизнес ревью» 1958 г., написанную, с современной точки зрения, на заре информационной революции. В этой статье Г. Ливитт и Т. Уислер предсказывали, что информационные технологии заменят традиционную иерархическую организационную пирамиду структурой, напоминающей песочные часы, причем за счет ликвидации слоя менеджеров среднего звена произойдет резкое повышение общей эффективности системы [22].

В качестве параллельного советского примера процитируем фрагмент из доклада академика А. И. Берга на заседании Президиума АН СССР 10 апреля 1959 г.: «В борьбе за дальнейший технический прогресс, за внедрение новой техники и технологии в социалистическое производство следует, по нашему мнению, отвести большую роль глубокой разработке и широкому внедрению кибернетики. Кибернетика должна быть поставлена на службу повышения эффективности деятельности советских людей и использована для решения трудных задач руководства нашим быстроразвивающимся народным хозяйством» [1, 33]. Далее это положение подкреплялось ссылками на преимущества общественного строя в СССР, которые позволяют ставить и решать управленческие задачи большого масштаба.

И в СССР, и в США компьютеры рассматривались прежде всего как инструмент для рациональной оценки затрат и контроля за выполнением поставленных задач. В не такой уж далекой перспективе мыслилось полное вытеснение людей из системы управления (ср. весьма популярную в фантастике 60-х гг. тему Сверхразума, отвечающего за управление всей планетой).

Однако начиная с 70-х гг. XX в. в американской контркультуре началось формирование новой компьютерной идеологии, противостоящей доминантному «закрытому» компьютерному дискурсу, в рамках которого компьютер выступал как воплощение рационального бюрократического контроля. Именно благодаря этой новой идеологии и возник персональный компьютер как «контрартефакт» (понятие введено в [27]), противостоящий Сверхразуму, т. е. «большим» электронно-вычислительным машинам. Данные процессы подробно проанализированы целым рядом авторов [см., например, 23, 30]. Все они особо подчеркивали утопическую составляющую новой компьютерной идеологии, призванной освободить граждан от зависимости от «больших корпораций» и государства.

Стремительное развитие информационных технологий привело к тому, что контркультурная идеология превратилась в доминантную «калифорнийскую

идеологию», основанную на вере в способность информационных технологий решить любые, самые сложные социальные и политические проблемы. Поэтому в качестве ее другого названия К. Морозов недавно предложил термин «солюционизм» [26].

Как показали еще в 1996 г. Р. Барбрук и Э. Кэмерон, эта вера ни в коей мере не была естественным следствием развития данных технологий, а представляла собой противоречивую смесь технологического детерминизма (истолкованного с позиций контркультуры) со вполне традиционной джефферсонской экономической моделью, основанной на идее государства — «ночного сторожа» [8]. Это не помешало «евангелистам», проповедующим новую идеологию, добиться весьма значительного влияния на органы власти. Характерно, что активными ее сторонниками были как республиканец Н. Гингрич (спикер конгресса США в 1995–1999 гг.), так и демократ А. Гор, вице-президент США при Б. Клинтоне.

Именно при президенте Б. Клинтоне в рамках движения по «изобретению государства заново» (REGO, «reinventing the government») появился термин «электронное правительство». Его впервые использовал вице-президент А. Гор, когда заявил о необходимости «изменить саму культуру федерального правительства» [25], резко повысив эффективность коммуникаций как внутри органов власти, так и между органами власти и гражданами. Важнейшую роль в этом процессе призваны были сыграть информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Предложенная административная реформа была одиннадцатой по счету в XX в., и концепция «электронного правительства» выполняла важнейшую символическую функцию, позволяя, с одной стороны, дистанцироваться от предшественников (усилия которых трудно было назвать однозначно успешными), а с другой — подчеркнуть прогрессивный, практически революционный характер администрации Б. Клинтона.

С самого начала перед электронным правительством были поставлены максимально амбициозные задачи: вместо иерархической, малоподвижной и закрытой управленческой системы должны были появиться гибкие, связанные по горизонтали структуры, оперативно взаимодействующие между собой, открытые для контроля в любом звене и быстро и качественно взаимодействующие с гражданами.

Инициаторы перехода к электронному правительству обещали, что в результате внедрения информационных технологий уже на первом этапе (т. е. до радикального преобразования государства) произойдет существенное повышение качества государственного управления. При этом подчеркивалось, что технологии электронного правительства носят универсальный характер, а отказ от их внедрения чреват суровыми последствиями: тяжелым кризисом системы управления, не сумевшей приспособиться к реалиям информационного общества, ростом недоверия граждан к органам власти, усиливающимся политическим абсентеизмом и т. п.

Успех концепции электронного правительства (и готовность представителей власти тратить огромные средства на внедрение информационных технологий) объяснялся не только влиянием «калифорнийской идеологии», но и

воздействием неолиберальной управленческой модели — так называемого «нового государственного менеджмента».

Эта административная идеология сформировалась как результат отрицания классической иерархической модели государства, которую традиционно называют «веберовской». В рамках NPM («new public management» — «новый государственный менеджмент») государство рассматривалось по аналогии с крупной корпорацией, существующей в рыночной среде. Это позволило сформулировать концепцию «государственных услуг», которые органы власти обязаны оказывать населению, в свою очередь, превратившемуся из граждан в потребителей. С целью повышения качества этих услуг, а следовательно и эффективности управления, рекомендовалось кардинально перестроить традиционную бюрократическую систему с использованием рыночных механизмов. Органы государственной власти должны были научиться конкурировать между собой за потребителя, поэтому требовалось провести децентрализацию и повысить автономию их подразделений, поставить вознаграждение государственных служащих в зависимость от конечного результата (удовлетворенности потребителей их услугами и готовности приобретать их в дальнейшем), а в ряде случаев вообще передать государственные функции на аутсорсинг частным компаниям. Иными словами, речь шла о переносе технологий, выработанных в рамках корпоративного управления, на государственные структуры.

Концептуально идеология NPM опиралась на некоторые положения микроэкономики и теории организационного менеджмента [19]. Отсюда стремление сторонников этой управленческой программы оптимизировать административные процессы («process above hierarchy»), ориентация на конечный результат («results not processes»), принципиальная аполитичность («production not politics») и культ эффективного менеджера, способного зарядить своей энергией и видением рядовых исполнителей.

Именно такой прогрессивный менеджер, освоивший все современные технологии управления, призван был сменить традиционных «мандаринов», ориентированных на этику общественного служения и корпоративную ответственность. По мнению Э. Самье, культ руководителя, способного выбить чиновников из наезженной колеи и заставить их работать по-новому, можно рассматривать как попытку противопоставить рациональной легитимации, типичной для традиционной бюрократии, легитимацию харизматическую. Впрочем, харизма эффективных менеджеров базировалась не на таинственной магии власти, а на знаниях, приобретенных на курсах по управлению людьми, и в этом смысле носила «китчевый» характер. Фактически она сводилась к способности четко формулировать цели, мотивировать подчиненных и сокращать расходы [28, 76–77].

Опора на эффективных менеджеров гармонично сочеталась в NPM с ярко выраженной технократической ориентацией, поэтому его важнейшей составляющей стало внедрение информационных технологий в государственное управление. Если за оптимизм отвечали менеджеры нового типа, то эффективные коммуникации были призваны обеспечить информационные технологии. Они должны были оптимизировать бизнес-процессы, связанные с предоставлением

государственных услуг, что позволило бы резко повысить эффективность управления и сократить расходы.

Сочетание технологического детерминизма «калифорнийской идеологии» и неолиберальных рецептов «нового государственного менеджмента» привело к тому, что концепция электронного правительства быстро приобрела глобальный характер. Она вошла в повестку организуемой ООН Всемирной встречи по информационному обществу, а за ее внедрение в развивающихся странах взялся Всемирный банк (на сайте которого имеется специальный раздел, посвященный электронному правительству). Целый ряд организаций, начиная с Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН и заканчивая рядом влиятельных академических учреждений (таких, как токийский Университет Васэда или Таубманский центр публичной политики Университета Браун), стал замерять рейтинги развития электронного правительства в странах мира.

Как показала Е. Г. Дьякова, эти рейтинги основаны на деконтекстуализации: их разработчики игнорируют особенности национальных политических режимов и административной культуры и исходят из убеждения, что разработанные в рамках «калифорнийской идеологии» модели электронного правительства должны быть эффективны во всех странах мира (подробнее см. [5]). Соответственно проблемы с внедрением истолковываются как результат непонимания исполнителями важности поставленных задач, а главным инструментом их решения, вполне в духе NPM, выступает «политическая воля» высших руководителей, способных мотивировать подчиненных и переломить их организационное сопротивление.

Между тем реальный опыт внедрения информационных технологий в государственное управление постоянно приходил и продолжает приходиться в противоречие с символическими обещаниями. Проблемы и неудачи начались еще на стадии «закрытого компьютерного дискурса», во времена веры во всемогущество кибернетики.

В СССР классическим примером такой неудачи стал провал попытки создать Общегосударственную автоматизированную систему сбора и обработки информации для нужд учета, планирования и управления (ОГАС). Инициатором разработки ОГАС академиком В. М. Глушковым была предложена грандиозная программа (которую он сам сравнивал по стоимости с атомной или космической) создания системы взаимодействующих друг с другом вычислительных центров. Главной особенностью данной системы был жесткий иерархизм («информационная база ОГАС представляет собой многоступенчатую пирамиду, нижнюю ступень которой составляет информационная база первичных экономических ячеек, а верхнюю ступень — информационная база общегосударственных органов управления» [3, 49]), а главной задачей — обеспечение полноты передаваемой информации по бюрократической цепочке.

Традиционно провал ОГАС объясняется принципиальной невосприимчивостью советских управленческих структур к инновациям: «кибернетики стремились реформировать советскую систему управления посредством внедрения информационных технологий, но эта система, являясь пользователем данных технологий, сумела навязать свою волю», так что «вместо локомотива



реформ они стали средством сохранения существующего экономического и политического порядка» [2]. Однако К. Кремер и Дж. Кинг, основываясь на анализе сорокалетнего американского опыта внедрения ИКТ в систему государственного управления, которая всегда считалась значительно более гибкой и открытой инновациям, чем советская, пришли к аналогичному выводу: информационные технологии никогда не были инструментом структурной реформы. Наоборот, они укрепляли иерархическую структуру бюрократических организаций, усиливая возможности менеджеров по контролю над нижестоящими структурами [20].

По подсчетам Р. Хикса, до 85 % инициатив в сфере электронного правительства заканчиваются полной или относительной неудачей [18]. Он связывает эти неудачи с разрывом между замыслом и реальностью («design-reality gap»): когда «жесткие» решения в сфере электронного правительства сталкиваются с «мягкой» реальностью, вероятность неудачи резко возрастает. Под «жесткими решениями» понимается техническая рациональность, которой руководствуются разработчики решений в сфере электронного правительства, а под «мягкой реальностью» — социально обусловленные (спецификой политического режима, административной культуры и т. п.) способы функционирования органов государственной власти.

Иными словами, речь идет о том, что технологический детерминизм и нелиберальная вера во всемогущество эффективных менеджеров приходят в противоречие с институциональной логикой функционирования властных институтов. Любопытно, что, в отличие от современных сторонников электронного правительства, В. М. Глушков хорошо это понимал. По его справедливому замечанию, «приспосабливать кибернетические машины к существующему уровню управления так же бессмысленно, как ставить атомный двигатель на телегу. Прежде... следует перестроить структуру руководства и создать совершенно новый документооборот» [4, 37].

Проблема в том, что перестраивать структуру руководства, согласно концепции электронного правительства, должно само руководство. Результат оказывается вполне предсказуем: бюрократический аппарат успешно сопротивляется «оптимизации административных процессов».

Опять сошлемся на американский пример: в 2010 г. В. Кундра, назначенный Обамой «chief information officer» («главный специалист по информатизации»), публично жаловался на то, что «федеральное правительство по тем или иным причинам не использует технологические возможности, которые используют все остальные». Правительство США тратит на информационные технологии больше всех в мире, однако отдачи не получает. В. Кундра назвал пять основных причин неудач (хорошо знакомых и отечественным специалистам по электронному правительству): недостаточно жесткое руководство, из-за чего даже заведомо неудачные проекты продолжают реализовываться; ведомственность; закрытый характер принятия решений; ориентация на процесс, а не на результат; сложившаяся у чиновников убежденность, что власть всегда будет отставать в использовании информационных технологий, поэтому нет смысла прилагать усилия и изобретать новые подходы [21].

Соответственно в качестве лечения предлагаются уже знакомые нам рецепты. В последнем Обзоре развития электронного правительства, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA), содержится указание на то, что политическим лидерам следует активно разъяснять сотрудникам органов власти, что такое электронное правительство, постоянно делая упор «на сотрудничестве, партнерстве, объединении усилий, взаимодействии между ведомствами и подразделениями по всему управленческому спектру». Также рекомендуется приглашать сотрудников к высказыванию критических соображений, обеспечивать всеми необходимыми ресурсами для успешной работы и на непрерывной основе (пере-)обучать их, как вести себя в новых условиях [31, 70]. В. Кундра, в свою очередь, рекомендовал проявить политическую волю, провести ревизию и закрыть бесперспективные проекты. Это и было сделано в рамках кампании за урезание государственных расходов в условиях экономического кризиса, однако обещанного резкого роста эффективности госуправления все равно не произошло.

Таким образом, вместо оптимизации управленческих процессов под влиянием технологических изменений происходит обратный процесс: новые технологии приспособляются к существующим процессам. Для описания этого феномена Дж. Фонттейн еще в 2001 г. использовала термин «enactment» («введение в силу»), подчеркивающий активную роль управленческих структур в адаптации технологических решений [16].

Однако, несмотря на хронические провалы и неудачи, каждый новый этап в развитии информационных технологий сопровождается очередными обещаниями радикального преобразования системы государственного управления. Например, П. Данливи с соавторами, подвергнув суровой критике теорию нового государственного управления за игнорирование специфики административной культуры и социального контекста, в котором функционируют органы власти, тут же выразили уверенность, что на новом этапе, используя технологии Web 2.0, удастся избежать неудач, потому что преимущества этих технологий говорят сами за себя [12]. Резкий переход от вполне разумной критики к некритическому перечислению преимуществ электронного правительства показывает, насколько устойчивой является та идеологическая платформа, на которой сформировалась эта концепция.

Она получила дальнейшее развитие в работах такого типичного «калифорнийца», как Т. О'Рейлли. Именно он ввел понятия «Web 2.0» и «государство 2.0». Под «государством 2.0» понимается структура, в которой все решения принимаются объединенными усилиями граждан (методом краудсорсинга) на основе открытых данных. Как показал Н. Ткач [29], О'Рейлли мыслит государство по типу рынка программных продуктов, на котором необходимо поддерживать максимальную конкуренцию. По мнению Н. Ткача, «политика, смоделированная по “базарному типу” развития компьютерных программ, в лучшем случае выглядит как очередной поворот в продолжающемся наступлении рыночных принципов на государство» [Там же], т. е. как развитие принципов «нового государственного менеджмента».

Однако, несмотря на резкую критику, выдвинутая О'Рейлли идея «открытого правительства» как механизма функционирования «государства 2.0» получила поддержку и развитие в администрации Б. Обамы. Впрочем, культ «открытого правительства» не мешает этой администрации вести активную борьбу с нежелательными утечками информации. Сошлемся на известное «дело Сноудена», представляющее собой только верхушку айсберга. По мнению представителей американских НКО, в борьбе с «whistleblowers» («добровольными информаторами») администрация Обамы побила все предшествующие рекорды.

Тот факт, что, несмотря на многочисленные провалы, связанные с большими затратами, концепция электронного правительства упорно продолжает сохранять привлекательность, свидетельствует о ее идеологическом характере. Как известно, идеология может существовать, регулярно приходя в противоречие с реальностью, но интерпретируя хронические неудачи как случайные провалы, связанные с недостатком мотивации у рядовых исполнителей.

Все сказанное не означает, что информатизация системы государственного управления не приносит пользы. Как показывает мировой опыт, результатом внедрения информационных технологий обычно является ряд небольших позитивных изменений. Именно поэтому известный теоретик электронного правительства Д. Вест называет переход к электронному правительству не радикальной, а «частичной реформой», т. е. реформой, которая постепенно, шаг за шагом, методом проб и ошибок обеспечивает серию улучшений и может в перспективе породить (непредвиденный) кумулятивный эффект [32].

Проблема, однако, в том, что идеологически сторонники электронного правительства ориентированы не на кумулятивное накопление позитивных изменений, а на радикальную реформу. Поэтому перед ними постоянно стоит непростая задача соотношения идеологических символов с практическими действиями. Как показали Т. Кристенсен и П. Лагред [10], в ряде случаев при этом ограничиваются заявлениями, не имеющими с действительностью ничего общего, однако обеспечивающими желаемую легитимацию. Однако чаще осуществляется операционализация символов с целью приведения их хотя бы в относительное соответствие с обещаниями.

Право на операционализацию, которая тождественна праву на интерпретацию степени эффективности инноваций, является предметом борьбы между участниками процесса внедрения электронного правительства. Можно привести множество как отечественных, так и зарубежных примеров такой борьбы.

Так, с одной стороны, Министерство связи и массовых коммуникаций информирует, что на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru) можно получить до 700 услуг федеральных органов исполнительной власти и несколько тысяч услуг регионального уровня. В качестве достижения сообщается также, что на декабрь 2012 г. на портале было зарегистрировано более 4 500 000 пользователей, которым было оказано около 16 000 000 услуг в электронном виде (из них 12 000 000 — в 2012 г.). Таким образом, демонстрируется, что реформа идет успешно и граждане охотно осваивают электронные услуги.

Однако проверка, проведенная Департаментом контроля и проверки выполнения решений Правительства РФ, показала, что в 2012 г. из общего количества поступивших заявлений в министерства и ведомства было подано в электронном виде всего 16 %, в то время как плановое значение этого показателя в 2012 г. должно было составить 25 %. Согласно целевым параметрам госпрограммы «Информационное общество» на начало 2012 г. должны были пользоваться электронными госуслугами не менее 20 % от общей численности населения, или около 28 000 000 граждан [8].

В результате вопрос о том, насколько эффективными являются процессы, осуществляемые с использованием электронного правительства (или проще — считать ли его формирование удачей или неудачей), так и остается открытым. Ситуация дополнительно осложняется тем, что концепция электронного правительства до сих пор остается идеологией «для внутреннего административного пользования» и плохо воспринимается российскими гражданами (как показывают наши исследования, они до сих пор не понимают, что такое «государственные услуги»). Поэтому концепция электронного правительства выполняет функцию легитимации только частично.

Однако, как показывает международный опыт, тот факт, что эффективность реформы подвергается сомнению, не мешает устойчивому воспроизводству идеологии, лежащей в ее основе. Пока информационные технологии будут сохранять высокую культурную значимость, государство будет их использовать, чтобы увеличить собственный символический капитал.

---

1. Берг А. И., Ляпунов А. А., Яблонский С. В. Теоретические и практические проблемы кибернетики // Морской сборник. 1960. Т. 2. С. 33–56.

2. Герович В. А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть // Неприкосновенный запас. 2011. № 1 (75) [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2011/1/ge4.html> (дата обращения: 01.07.2013).

3. Глушков В. М. Социально-экономическое управление в эпоху научно-технической революции. Киев, 1979.

4. Глушков В. М., Добров Г. М., Терещенко В. И. Беседы об управлении. М., 1974.

5. Дьякова Е. Г. Переход к электронному правительству как процесс институциональной адаптации // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Вып. 11. Екатеринбург, 2011. С. 235–252.

6. Левашов А. С. Отчет правительства: Электронные госуслуги заглохли // «СNews». 2013. 25 июня [Электронный ресурс]. URL: [http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id\\_4=43788](http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43788) (дата обращения: 01.07.2013).

7. Barbrook R. Imaginary Futures: From Thinking Machines to the Global Village. Pluto Press, L., 2007.

8. Barbrook R., Cameron A. The Californian Ideology // Science as Culture. 1996. Vol. 6, № 26. P. 44–72.

9. Beniger J. The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1996.

10. Christensen T., Laegreid P. Administrative Reform Policy: The Challenges of Turning Symbols into Practice // Public Organization Rev. 2003. Vol. 3. P. 3–27.

11. DiMaggio P. J., Powell W. W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Rev. 1983. Vol. 48. P. 147–160.

12. *Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J.* New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance // *J. of Public Administration Research and Theory*. 2006. Vol. 16, № 3. P. 467–494.
13. *Edgerton D.* The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900. Oxford Univ. Press, N. Y., 2011.
14. *Edwards P. M.* The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America. The MIT Press, Cambridge, Mass., 1986.
15. *Fogel R.* Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. The Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, 1964.
16. *Fountain J.E.* Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change. Brookings Institution Press, Washington, D. C., 2001.
17. *Gerovitch S.* From Newspeak to Cyberspeak. A History of the Soviet Cybernetics. The MIT Press, Cambridge, Mass., 2002.
18. *Heeks R.* Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced? // IDPM i-Government Working Paper № 14. 2003 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/igovernment/index.htm>. (дата обращения: 07.07.2013).
19. *Kettle D. E.* The Global Revolution in Public Management: Driving Themes, Missing Links // *Management Sciences*. 1997. Vol. 40. P. 40–55.
20. *Kraemer K. L., King J. L.* Information Technology and Administrative Reform: Will E-Government Be Different // *Intern. J. of Electronic Government Research*. 2005. Vol. 2, № 1. P. 1–20.
21. *Kundra V.* Making Government Work, Closing the Gap. Remarks by Vivek Kundra, Federal Chief Information Officer at Evans School of Public Affairs at the University of Washington in Seattle, WA on March 4. 2010 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cio.gov/pages.cfm/page/Making-Government-Work-Closing-the-Gap> (дата обращения: 01.07.2013).
22. *Leavitt H. J., Whisler T. L.* Management in the 1980's' // *Harvard Business Rev.* 1958. Vol. 36. P. 41–48.
23. *Markoff J.* What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry. Penguin Books, L., 2006.
24. *Meyer J. W., Rowan B.* Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony // *The American J. of Sociology*. 1977. Vol. 83, № 2. P. 340–363.
25. *Moe R. C.* The “Reinventing Government” Exercise: Misinterpreting the Problem, Misjudging the Consequences // *Public Administration Rev.* 1994. Vol. 54, № 2. P. 111–122.
26. *Morozov E.* To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. PublicAffairs, N. Y., 2013.
27. *Pfaffenberger B.* The Social Meaning of Personal Computer: or, Why the Personal Computer Revolution was No Revolution // *Anthropological Quarterly*. 1988. Vol. 61, № 1. P. 39–47.
28. *Samier E.* Toward a Weberian Public Administration: The Infinite Web of History, Values and Authority in Administrative Mentalities // *Halduskultuur*. 2005. Vol. 6. P. 60–93.
29. *Tkacz N.* ‘Openness’ is the New Magic Word in Politics – but Should Governments Really Be Run like Wikipedia? // *Aeon*, 28 Jan. 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aeonmagazine.com/world-views/nathaniel-tkacz-open-source-government> (дата обращения: 01.04.2013).
30. *Turner F.* From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism. Univ. of Chicago Press, Chicago, 2008.
31. United Nations Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People [Электронный ресурс]. URL: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf> (дата обращения: 01.07.13).
32. *West D. M.* Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton Univ. Press, Princeton, 2007.

## АВТОРЫ НОМЕРА

*ВАЛИАХМЕТОВА Гульнара Ниловна* — профессор кафедры востоковедения департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, доктор исторических наук. E-mail: vgulnara@mail.ru

*ГРУНТ Елена Викторовна* — профессор кафедры прикладной социологии департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, доктор философских наук. E-mail: helengrunt2002@yandex.ru

*ГУЗИКОВА Мария Олеговна* — заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках, доцент кафедры европейских исследований департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат исторических наук. E-mail: mariagu@mail.ru

*КАЛБ Дон* — профессор Центрально-Европейского университета (Будапешт, Венгрия), доктор социологии. E-mail: dkalb@ceu.hu

*КАМЫНИН Владимир Дмитриевич* — заведующий кафедрой евразийских исследований департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, профессор, доктор исторических наук. E-mail: kamyninv@yandex.ru

*КИСЛОВ Алексей Геннадьевич* — заведующий кафедрой онтологии и теории познания департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, доцент, кандидат философских наук. E-mail: kislov@e-sky.ru

*КРАСАВИН Игорь Вячеславович* — доцент кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: krasavin.i@gmail.com

*ЛЕЙБОВИЧ Олег Леонидович* — заведующий кафедрой культурологии факультета культурологии Пермской государственной академии искусства и культуры, профессор, доктор исторических наук. E-mail: Oleg.leibov@gmail.com

*ЛИПОВЕЦКИЙ Марк Наумович* — профессор факультета германистики и славистики Университета Колорадо (Болдер), доктор филологических наук. E-mail: mark.leiderman@colorado.edu

*ЛИССИЦА Сабина* — профессор департамента коммуникаций Ариэльского университета (Израиль). E-mail: sabinal@bezeqint.net

*МУСЛУМОВ Рустам Рафикович* — доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии департамента психологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат психологических наук. E-mail: mrr82@yandex.ru

*НЕМЕНКО Екатерина Петровна* — аспирант кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: hist-nemenko@yandex.ru

*НЕСТЕРОВ Александр Геннадьевич* — заведующий кафедрой европейских исследований департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, профессор, доктор исторических наук. E-mail: agn1154@yandex.ru

*НЕСТЕРОВА Татьяна Петровна* — доцент кафедры европейских исследований департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат исторических наук. E-mail: trnesterova@yandex.ru

*ПИЕРОБОН Кьяра* — научный сотрудник Центра германистики и европеистики университета Билефельда (Германия). E-mail: chiara.pierobon@uni-bielefeld.de

*ТРАХТЕНБЕРГ Анна Давидовна* — старший научный сотрудник отдела философии Института философии и права Уральского отделения РАН, кандидат политических наук. E-mail: gf\_urfo@bk.ru

*ЧЕШОКОВ Алексей Сергеевич* — профессор кафедры теории и истории политической науки департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, доктор политических наук. E-mail: alexright@mail.ru

# SUMMARY

## PLENARY REPORTS

*Kalb D.* Critical Junctions beyond Comparison: Notes on Vision and Methodology ..... 6

The author introduces the concept of critical junctions. The concept is placed in the context of discussions about modernity; then, its methodological underpinnings and alternative approaches to comparison are explicated. In the final part, the author demonstrates how to apply critical junctions to interpreting events of 2011 – “annus mirabilis”.

**Key words:** critical junctions, modernity, comparative methodology, globalization.

*Lipovetsky M. N.* Pussy Riot: Trickster and Modern Gender Regime ..... 15

The author focuses on the cultural aspects of the punk prayer that art-actionist group Pussy Riot performed in Christ the Savior Cathedral in Moscow in 2011. The historical context of soviet ‘subversive culture’ is explored and, in particular, the trickster figures in soviet art and literature are analyzed. The various intellectual groups’ reactions to the punk prayer and to the ensuing trial are discussed. The repressive gender regime, which both defenders and oppressors of the group share and reproduce, is exposed.

**Key words:** Pussy Riot, gender, trickster, neotraditionalism.

## CONFERENCE “GLOBAL AND REGIONAL SECURITY IN THE 21ST CENTURY”

*Valiakhmetova G. N.* Sociocultural Implications of Political Controversy between the West and the Muslim World ..... 30

The author discusses sociocultural implications of political controversy between the West and the Muslim world. The main reasons for and manifestations of intolerance in the mass culture and mass consciousness of both modern Muslim and Western societies are analyzed. The author argues that because of the increasing threats to global and regional security xenophobia’s potential to destabilize the modern world order has increased.

**Key words:** the West, the Muslim world, cultural values, xenophobia, islamophobia, intolerance, radicalism, terrorism.

*Kamynin Vl. D.* Changes of Russian Policy on Security in Central Asia at the turn of the 21<sup>st</sup> century ..... 37

The author explores the reasons for change in Russia’s security policy in Central Asia by analyzing leading experts’ opinions. The author argues that this reconsideration of policy was determined by both national and international factors and resulted in growing influence of Russia in the region.



The author concludes that fight against international terrorism is now at the center of Russian activities in Central Asia.

**Key words:** Russia, Central Asia, regional security, international terrorism.

*Krasavin I. V.* Plutocracy and the Transformation of Global Hegemony ..... 43

The author discusses modern plutocracy and transformation of capitalist hegemony from political-economic and macrosociological perspective and demonstrates global financialization of international political and economic relations. The article is based on historical comparison and highlights similarities in the formation of capitalist hegemonies. The author analyzes the advantages and weaknesses of the possible new global hegemonies – EU and China. In the final part, the author outlines Russian plutocratic regime's development and prospects.

**Key words:** plutocracy, capitalist hegemony, financialization, state institutions, development, growth, dependence.

CONFERENCE “EUROPE IN THE CHANGING WORLD”

*Gouzikova M. O., Nesterov A. G.* Debating of “Kosovo Question” in the United Nations International Court of Justice (2008–2010): concept of the term “sovereignty” ..... 59

The article focuses on the conceptual analysis of the term “sovereignty”. The corpus of texts of an advisory proceedings by the International Court of Justice about the Kosovo case was used as a basis for this analysis. The methodology of the analysis follows the scheme proposed by Ludmilla Babenko.

**Key words:** International Court of Justice, sovereignty, Kosovo, conceptual analysis, corpus.

*Nesterov A. G.* Austria-Hungary as Project of Integration: A Historical Experience of Central and Eastern Europe for the 21<sup>st</sup> Century ..... 67

The author focuses on Austrian-Hungarian Empire that succeeded absolute monarchy of the Habsburgs. In the article, the integrative functions of Monarchy and the problems of Austrian-Hungarian model of integration are analyzed. The significance Austrian-Hungarian experience for the contemporary European integration is discussed.

**Key words:** Austria-Hungary, Habsburg, Central-Eastern Europe, integration, modernization.

*Nesterova T. P.* The Concept of Italian Civilization as a Project of Integration in 1920–30s .. 73

The article focuses on the concept of Italian Civilization that was part of the discourse justifying Italy's expansion in Mediterranean region in 1920-30s. In the article, the main vectors of Italian foreign policy in Mediterranean region are analyzed, the origins and transformation of the concept are described. The role of culture and architecture for the evolution of this concept is highlighted. The author argues that the Italian government sought to construct “Mediterranean identity” by promoting specific cultural policies and architectural projects.

**Key words:** Italy, Italian Fascism, Italian architecture, Italian culture, Italian foreign policy.

CONFERENCE “IDENTITY AND MIGRATION IN CHANGING WORLD”

*Lissitsa S.* What is Vital for Integration? Russian Immigrants and Israelis Speak Their Mind ... 78

This research focuses on criteria for evaluating the success of sociocultural adjustment among CIS immigrants in Israeli society. The research objective was to explore: how immigrants and hosts defined the criteria of integration, i.e. what are the requirements an immigrant has to meet to be accepted as a full-fledged member of Israeli society. The research methodology combines qualitative and quantitative methods.

**Key words:** migration, sociocultural adjustment, CIS immigrants, Israeli society, integration criteria

*Grunt E. V.* Russian-Speaking Expatriates in Turkey: Reconfiguration of Sociocultural Landscape ..... 95

The author examines main trends in modern Turkish culture and analyzes the problems of Russian diaspora, namely, the weakening of diaspora bonds. In particular, the impact of the third wave of Russian immigrants on Turkish culture is explored.

**Key words:** migration waves, socio-cultural space, emigration, Turkey, Russian diaspora.

*Chesnokov A. S.* International Immigration Policy and Sociopolitical Rights of Immigrants: Ideological Priorities and Normative Basis ..... 102

The paper focuses on the international legal and political regulation of the rights of immigrants, as the latter are outlined in the major international declarations and agreed upon by the most countries in the world. Ideological principles that underpin existing international treaties concerning the status of immigrants are analyzed. The author examines the main problems that arise from practical implementation of principles and norms underlying applicable conventions.

**Key words:** international treaties, immigration, immigration policy, political and social rights.

CONFERENCE “CURRENT PARADIGMS OF PSYCHOLOGY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN PUBLIC SERVICE AND REGIONAL ADMINISTRATION”

*Muslimov R. R.* Psychological Analysis of University Students’ Legal Attitudes ..... 109

The author focuses on the legal attitudes that determine students’ behavior. The article sheds light on the main components of students’ legal attitudes and investigates their interaction in the development of legal consciousness.

**Key words:** legal consciousness, legal attitudes, knowledge of the law, criminal sensitivity, legal values.

CONFERENCE “MODERNITY JUNCTURES: POST-SOCIALIST INSTITUTIONS, SUBJECTIVITIES, AND DISCOURSES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE”

*Pierobon Ch.* The European Union in Central Asia: a New Concept of Democracy Assistance? ..... 117

From the 1990s onwards, Central Asia has been the target of numerous projects and initiatives on behalf of Western states and international institutions. Most of the initiatives of Western donors were focused on the strengthening of civil society by using an instrumental approach. In their action, international donors were misled by their own experience and interpretation of Western civil society. In so doing, they overlooked two very important aspects: firstly, modern Western society took two centuries to evolve; secondly, they were operating in a different social, economic, political and cultural context. Since 2006, a new concept of democracy assistance was implemented by Western donors; a pivotal role was assigned to ‘community development’ on the grassroots level. The paper examines the ways in which, through its new forms of engagement in Central Asia, the EU is trying to overcome the pitfalls and limitations of the Western-oriented approach in the region, promoting the creation of a genuine and effective civil society.

**Key words:** EU, Central Asia, democracy assistance.

*Kislov A. G.* Semantics of the Permissible: Roughness of the Deontic Terrain ..... 128

In the paper, the standard semantic of deontic logic, based on propositional dynamic logic, is complemented by “strict” operators. Such concepts as “degree of responsibility,” “normative indifference,” “deontic completeness,” “allowed risks of action and inaction” are discussed.

**Key words:** deontic logic, propositional dynamic logic, logical semantics, normative operators, sanction, degree of responsibility.

- Leibovich O. L.* Cultural Aspects of Modern Crisis of Russian Society: Conflict of Social Technologies ..... 142  
 In this article, the anthropological idea of culture as a complex of technologies used by different social groups is operationalized for the analysis of modern Russian society. The author shows that the difference between the technologies available to various social groups engenders sociocultural divide in society, including the political sphere.  
 Key words: Russian society, culture, technology, culture shock, cultural divide.
- Nemenko E. P.* Transformations of Soviet Habitus in Contemporary Artistic Milieu: Between Circle of Friends and Get-together ..... 151  
 The article explores the peculiarities of soviet artists' habitus and investigates the types of social relations and communities that have emerged in the last decades. The author analyzes the structure and functions of horizontal friendly relations in Russian artistic milieu. The concept of arts autonomy is problematized with respect to challenges of modernity.  
 Key words: modernity, artistic habitus, autonomy of art, social fragmentation, personalism, pragmatism.
- Trakhtenberg A. D.* E-Government Implementation as a Symbolic Reform ..... 163  
 E-Government implementation is seen as a symbolic reform that aims to ensure a rational legitimation of public administration system. The author analyzes the sources of ideological construct "electronic government," which combines "Californian ideology" and the concept of "public services," as it developed within "new public management." The article demonstrates difficulties of operationalization of the results of symbolic reform.  
 Key words: e-government, rational legitimation, symbolic reform, Californian ideology, new public management.

ИЗВЕСТИЯ  
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
2013. № 5 (122)

Серия 3  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Редактор и корректор            *Т. А. Федорова*  
Компьютерная верстка        *Л. А. Хухаревой*

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1  
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ  
как содержащий научную информацию.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48321 от 27.01.2012.  
Учредитель — Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».  
620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Подписано в печать 30.12.2013. Формат 70×100<sup>1/16</sup>.  
Уч.-изд. л. 14,4. Усл. печ. л. 14,58. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg.  
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 252.

Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.  
Отпечатано в ИПЦ УрФУ. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

*Уважаемые авторы и читатели журнала  
«Известия Уральского федерального университета»  
Серия 3. Общественные науки!»*

Журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки»

- зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48321 от 27 января 2012 г.;
- зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий (International Standard Serial Numbering – ISSN) 3 июля 2007 г. с присвоением международного стандартного номера ISSN 1817–7174;
- включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук в соответствии с рекомендациями экспертных советов по **философии, социологии, политологии, культурологии, психологии, международным отношениям** Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ;
- включен в Объединенный подписной каталог «Пресса России». Подписной индекс 82415.

Библиографические сведения и информация о статьях в журнале размещаются на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской университетской научной электронной библиотеки (РУНЭБ).

Полнотекстовая версия журнала размещается на портале университета (<http://urfu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu/>) и на платформе РУНЭБ.

### О порядке предоставления рукописей

1. В редакцию по электронной почте ([izvestia\\_3@usu.ru](mailto:izvestia_3@usu.ru)), по почте или лично автором предоставляются текст статьи (в двух экземплярах) (см. ниже требования к оригиналу) и анкета статьи (см. ниже).
2. В редакцию по почте или лично автором представляются официально заверенная внешняя рецензия (делается специалистом соответствующей отрасли знаний, не работающим в одном вузе, или на одном факультете, или на одной кафедре с автором статьи).
3. По электронной почте редакция уведомляет автора о том, принят или не принят материал к рассмотрению, и, если принят, сообщает автору замечания по содержанию и оформлению рукописи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
4. Автор пересылает исправленный текст в редакцию по электронной почте.
5. Редакция согласует с автором все исправления, дополнения и т. п., которые необходимо внести в статью по рекомендации рецензентов.

### Требования к авторскому оригиналу

1. Авторский оригинал должен иметь следующую структуру:
  - а) шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5. Поля – все по 2 см;
  - б) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество – полностью, ученые степень и звание, должность, место работы, телефоны, в том числе сотовые, e-mail (обязательно!), домашний почтовый адрес.

Аспирантам и докторантам необходимо указать, в сфере каких наук — философских, социологических, политологических, культурологических или экономических — они выступают соискателями ученого звания;

в) инициалы и фамилия автора на русском языке;

г) заголовок статьи на русском языке;

д) краткая, 5–7 строк, аннотация (включает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты, указывает, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению; ее рекомендуется писать простыми предложениями, без сложных синтаксических конструкций) к статье на русском языке (по ГОСТ 7.9–95).

Рекомендации к составлению аннотаций статей, представляемых для публикации в журнале «Известия УрФУ. Серия 3. Общественные науки».

Аннотация необходима для упрощения поиска в электронных научно-информационных базах, среди миллионов других доступных источников. Именно благодаря аннотации статья может заслужить внимание читателя, поэтому четкая краткая характеристика основного содержания статьи является важнейшим элементом поискового образа документа (ПОД), наряду с самим названием, ключевыми словами и кодами. Объем аннотации — не менее 500 и не более 800 знаков без пробелов.

В аннотации должны быть указаны:

— конкретная научная проблема (предмет), анализу которой посвящена статья, сформулированная таким образом, чтобы выявить ее актуальность;

— научное направление, школа или научный подход, в рамках которого проведено исследование;

— основные этапы анализа или аргументации;

— главные результаты (выводы) проведенного исследования, сформулированные таким образом, чтобы выявить новизну.

Аннотация и ключевые слова должны отражать специфику работы и быть максимально конкретными;

е) ключевые слова по исследуемой проблеме (должны повторяться либо в названии статьи, либо в аннотации);

ж) инициалы и фамилия автора, заголовок статьи, аннотация к статье, ключевые слова на английском языке;

з) основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники;

и) затекстовый список цитируемой литературы (см. образцы оформления).

## 2. Оформление библиографического аппарата.

Автор оформляет библиографические ссылки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографические ссылки. Общие требования и правила оформления»:

а) цитируемые литература и другие источники располагаются в алфавитном порядке по первой букве фамилии авторов или первой букве названия других источников. Литература и источники на иностранных языках располагаются в конце затекстового списка по латинскому алфавиту. Весь затекстовый список нумеруется по порядку. Например:

1. *Бернштам Т. А.* Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2005.

2. Выступление Президента на сборе руководящего состава Вооруженных сил от 16.11.2006 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 02.02.2007).

3. *Герцен А. И.* С того берега // Герцен А. И. Соч. : в 9 т. М., 1956. Т. 3.

.....

9. *Коробкин М.* Уральское хозяйство и внешний рынок // Хоз-во Урала. 1925. № 27.

10. *Куропаткин А. Н.* Отчет генерал-адъютанта Куропаткина : в 4 т. СПб. ; Варшава, 1906–1907. Т. 1.

11. *Николаев И. А., Марушкина Е. В.* Бедность в России [Электронный ресурс] // Экономический анализ. М., 2005. URL: <http://www.fbk.ru> (дата обращения: 15.10.2013).

.....

21. *Шаццлло К. Ф.* Консерватизм на рубеже XIX–XX вв. // Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. М., 2000;

б) внутритекстовые ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобках. Например:

[1] — означает общее указание на книгу или другой источник по теме исследования;

[1, 23] — первая цифра указывает на источник прямого или косвенного цитирования согласно алфавитному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу.

Примечание. При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются;

в) ссылки на архивные материалы располагаются непосредственно в тексте, в квадратных скобках. Название архива, если оно не является общеизвестным, приводят в сокращенном варианте, а затем расшифровывают в круглых скобках. Например:

[ГАСО (Гос. архив Свердловской обл.). Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14–14 об.]

[РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14–14 об.]

3. **Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды (предоставленные только в наше издание) объемом не более одного учетно-издательского (авторского, 40 000 знаков) листа.**

4. Текст не должен содержать сложных таблиц, графиков и рисунков.

Почтовый адрес редакции: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 319.

Философский факультет.

Редакция журнала «Известия УрФУ. Серия 3. Общественные науки».

Главному редактору *Суслову Николаю Владимировичу*.

Рукописи принимаются в редакции: пр. Ленина, 51, к. 319

(член редколлегии *Ковалева Екатерина Сергеевна*. Телефон для справок (343) 350-59-20).

Электронный адрес: [izvestia\\_3@usu.ru](mailto:izvestia_3@usu.ru)